Первый лиг свободы

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В этом сборнике 17 известных авторов ГДР, свидетелей или участников второй мировой войны, делятся своими мыслями и чувствами, которые вызвал у них долгожданный час свободы, незабываемый для каждого из них, незабываемый и по-своему особенный, ни с чем не схожий. Для героев рассказов этот час освобождения пробил в разное время: для одних в день 8 мая, для других — много дней спустя, когда они обрели себя, осознали смысл новой жизни.

- Первый миг свободы
  -
  - Предисловие
  - Эгон Рихтер
  - Гюнтер Кунерт
  - Фриц Зельбман
  - Генрик Кайш
  - Вольфганг Йохо
  - Отто Готше
  - Анна Зегерс
  - Гюнтер де Бройн
  - Клаус Бойхлер
  - Криста Вольф
  - Герман Кант
  - Ганс Георг Литц
  - Макс Вальтер Шульц
  - Юрий Брезан
  - Гюнтер Дайке
  - Йо Шульц
  - Франц Фюман
  - Франц Фюман
  - Франц Фюман
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9

- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18

Первый миг свободы

Рассказы писателей ГДР

Клаус Бойхлер
Юрий Брезан
Гюнтер де Бройн
Криста Вольф
Отто Готше
Гюнтер Дайке
Анна Зегерс
Фриц Зельбман
Вольфганг Йохо
Генрик Кайш
Герман Кант
Гюнтер Кунерт
Ганс-Георг Литц
Эгон Рихтер
Франц Фюман
Йо Шульц
Макс Вальтер Шульц

Первый миг свободы

Переводы с немецкого

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

Предисловие

События мая 1945 года — последних дней гитлеровского рейха, времени победного завершения второй мировой войны в Европе — описаны бесчисленное количество раз. Существует огромная мемуарная литература, воспоминания военачальников, свидетельства узников концлагерей; в стихах и рассказах, романах и пьесах литература снова и снова возвращается к этому решающему для судеб мира времени. Причем у современного читателя есть возможность увидеть те исторические дни не только глазами советских людей, участников и очевидцев беспримерной Победы; немецкая литература, художественная и документальная, позволяет нам понять, как воспринимались те дни «по ту сторону фронта», жителями поверженной гитлеровской Германии.

Книга «Первый миг свободы» представляет с этой точки зрения особый интерес. Мы встречаемся в ней с известными писателями Германской Демократической Республики, большинство которых едва ли надо представлять советскому читателю, хорошо знающему их книги. Каждый из них рассказывает — уже в наше время, много лет спустя — о том, как он узнал о конце гитлеровского рейха, как пришло к нему сознание свободы, физической и духовной. На события 8 мая 1945 года — этот день празднуется в Германской Демократической Республике как День Освобождения от фашизма — они смотрят из сегодняшнего «далека» и видят его в перспективе десятилетий социалистического строительства. Это придает их автобиографическим свидетельствам широту взгляда и историческую глубину.

Бросается в глаза, как по-разному прошили они этот теперь уже далекий день.

Фриц Зельбман, ветеран коммунистического движения, бывший еще в 1932 году депутатом рейхстага и проведший более двенадцати лет в гитлеровских тюрьмах и концлагерях, вообще его не заметил. Ему удалось бежать из колонны заключенных, которых перегоняли из одного концлагеря в другой, и он много суток пешком пробирался в Лейпциг. «День освобождения шагал по сцене мировой истории, а я, самый заинтересованный в нем современник, ничего об этом не знал; он прошел мимо меня, и я, буквально выражаясь, не был свидетелем этого исторического момента. Газет не было, радио молчало, а если и были какие-то передачи, то чем бы я смог принимать их?» Но это еще не было освобождением. В своем родном Лейпциге, занятом тогда

американскими войсками, Фрицу Зельбману снова пришлось уйти в подполье. И только с приходом советских войск он смог сказать, что это было «наступление свободы, настоящей свободы для меня и моей страны».

Отто Готше, профессиональный революционер, один из руководителей антигитлеровского подполья, в майские дни 1945 года организовывал новую власть в Эйслебене — это тот самый город Средней Германии, рабочие которого сумели спрятать от гитлеровцев бронзовый памятник Ленину, привезенный фашистами на переплавку, а потом сумели спрятать его от американских оккупационных властей.

Вольфганг Йохо, коммунист со времен Веймарской республики, встретил этот день на острове Родосе, где он находился в штрафном батальоне 999, и услышал от своего товарища, тоже коммуниста: «Победу еще нужно завоевать..»

На западе Германии 1945 год часто определяют как «нулевой год», то есть как некую исходную точку нового развития, начавшегося на пустом месте. Эта броская журналистская формула встречает справедливое возражение у писателей Германской Демократической Республики. На деле все обстояло гораздо сложнее. Если говорить о сознании народа, то после двенадцати лет гитлеровского господства оно находилось не просто на «нулевом», а на «отрицательном» уровне, было поражено отчаянием, страхом, неверием. Если те говорить об исходных точках нового развития, то они начиналось не на пустом месте, а опиралось на давние традиции, прежде всего на традиции немецкого революционного антифашистского движения. Читая рассказы Анны Зегерс, Фрица Зельбмана, Отто Готше, Вольфганга Йохо, Генрика Кайша, помещенные в сборнике, мы еще раз убеждаемся в этом.

Совсем по-другому встречали этот день писатели более молодого поколения, те воспитанники гитлеровских школ и гитлеровских казарм, которые служили в фашистской армии и были участниками захватнических походов. Для них речь шла ее о победе и не об освобождении, не о прозрении даже, которое было еще впереди. Для них май 1945 года был временем рушащегося миропорядка, хаоса, в котором надо было искать новую жизненную опору. О непостижимом крахе всего привычного и устоявшегося рассказывают и Герман Кант, и Гюнтер де Бройн, и Франц Фюман — самый, может быть, беспощадный к себе и своему прошлому среди всех своих товарищей по судьбе. Им, говоря словами Макса Вальтера Шульца, предстояло еще «перешагнуть через много порогов и закрыть за собой много дверей», прежде чем перед ними

откроется путь к подлинному духовному освобождению. Вспоминая себя в то время, они говорят не столько о мыслях, сколько о чувствах, не столько о сознательных поступках, сколько о неясных ощущениях. «Ощущения» — так и назвал свой рассказ Юрий Брезан; самым стойким и сильным «ощущением», решившим его судьбу, оказалась музыка Баха; именно немецкая классическая музыка, прозвучавшая в холоде и голоде первых послевоенных дней в исполнении оркестра, организованного советскими оккупационными властями, заставила его выбрать подлинную свободу — остаться в будущей Германской Демократической Республике.

Те, кто был еще моложе и встретил весну 1945 года подростком, легче пережили крутой поворот своей судьбы. Для них знаками рушащегося старого миропорядка часто были не страшные картины пожарищ и массовых смертей, а «домашние», бытовые детали. Эгон Рихтер, например, вспоминает, что был потрясен, увидев, как мать спарывала знаки различия с его форменной курточки в то время, когда по радио передавались призывы ко всем немцам «пасть смертью храбрых в мундире фюрера». Криста Вольф пишет, что в известии о смерти фюрера ее поразил не столько самый факт, сколько равнодушный тон, каким об этом было сказано, будто речь шла о погоде.

Какие несхожие судьбы, как по-разному начиналась у этих людей — пользуясь выражением Германа Канта — «вторая часть жизнеописания»!

Но вот что характерно: для всех писателей ГДР всех поколений, как бы по-разному ни встретили они освобождение от гитлеризма, сегодня это освобождение вспоминается не как короткий счастливый миг, а как длительный процесс. «Свобода пришла не сразу» — так называет свой рассказ Вольфганг Йохо. «Вероятно, — пишет он, — много было таких первых часов на пути к освобождению, которое мы сами должны были завершить, а 8 мая 1945 года было, правда, его непременным условием, но в то же время только первым его рубежом». Гюнтер Дайке, в войну офицер гитлеровского флота, после долгих колебаний принимает решение идти домой. Именно так: путь только начинался, «дом» еще был далеко впереди. Эгон Рихтер пишет: «Существовал ли для меня в тот день некий достопамятный миг?.. В тот голубой майский день подобного мига для меня не существовало, ни даже часа определенного, а только нанизанные в ряд часы и мгновения самой различной значимости».

Время меняет приметы, многое сдвигает в памяти. Все авторы рассказов могут, должно быть, сказать вместе с Йо Шульцем: «Во всяком случае, сегодня мне кажется, что я испытывал именно это

ощущение». Но дело, конечно, не просто в «сдвигах» памяти, а в «сдвигах» истории. Глава о штурме Зимнего в поэме Маяковского «Хорошо!» начинается и заканчивается словами об «обычной» осенней погоде и об «обычных» трамвайных рельсах; но если до взятия Зимнего «дул, как всегда, октябрь ветрами, как дуют при капитализме», то после взятия — «гонку свою продолжали трамы, уже — при социализме». В таком поэтически заостренном образе заключена глубокая диалектика истории. Конечно, в то мгновение, когда было низложено Временное правительство, за стенами Зимнего дворца еще ничего не изменилось; и в то же время изменилось все, ибо решающее событие дало уже начало новому развитию и точку для нового отсчета.

События становятся историческими датами только в том случае, если дальнейший ход времени подтверждает их высокий смысл. В свете сегодняшних достижений новой, социалистической Германии во всех областях жизни мы ясно видим, как много было заложено в дне 8 мая 1945 года, — когда, после краха преступного режима, открылись возможности для глубоких социальных преобразований.

Тридцать лет прошло с тех пор. Литература ГДР в книгах писателей разных поколений рассказала нам о том, как трудно и не просто, но неуклонно шел в эти годы процесс воспитания социалистического сознания в массах ее населения — подлинное «немецкое чудо» наших дней. Вспоминая далекое время «трудного начала», писатели еще раз по-новому заставляют нас увидеть высокий смысл перемен, совершившихся на древней немецкой земле.

П. Топер

Эгон Рихтер
ПЕРВЫЙ МИГ СВОБОДЫ

Стоит ли говорить, как трудно, как почти невозможно по истечении двадцати пяти лет, насыщенных чувствами, испытаниями, знанием и все новыми познаниями, перенестись назад, в положение тринадцатилетнего мальчугана, у которого тогда, в тот ясный майский день — числа уже и не припомню, — ничего этого еще не было за душой. Это могло быть не то 3, не то 5 мая, что, впрочем, как подумаешь, особой роли, конечно, не играет.

Куда более важно и заслуживает, на мой нынешний взгляд, большего внимания вопрос, существовал ли вообще в тот день некий достопамятный «миг». Для меня, разумеется. И не предполагает ли такой миг известной надежды на свободу — понятие мне в ту пору еще и вовсе чуждое. Взяв все это в соображение, я должен сказать: никакого точно обозначенного «мига» в тот голубой майский день для меня не существовало, ни даже часа определенного, а только нанизанные в ряд часы и мгновения самой различной значимости. Но ведь и масштабы значимости с течением лет сместились, и я отнюдь не уверен, являлось ли то, что сегодня я считаю важнейшим событием упомянутого дня, уже и тогда для меня столь важным и значительным. И не стояло ли оно для тринадцатилетнего в одном плане с такой, скажем, авантюрной возможностью, как безнаказанно разжиться во внезапно покинутом военном лагере вполне исправным военным телефоном и даже брошенной малолитражкой, чтобы, завладев этим достоянием, без малейшего толка и умения возиться с ним в ближайшей роще или тарахтеть наудачу по лесному бездорожью. Так было, по крайней мере, в утро того дня, в результате чего малолитражка окончательно стала ломом. Но я вовсе не об этом собирался рассказать. Я только хотел пояснить, до чего сложно, исходя из сегодняшних представлений, судить о том, в какой мере важным представлялось ребенку той поры то или другое событие.

Во всяком случае, утро этого дня дышало свободой и миром. Свободой, потому что ни один вооруженный карабином часовой не мешал вам заимствовать в ревниво оберегаемых доселе складах любую понадобившуюся вам вещь, — а миром, потому что командующий корпусом, крадучись, на воровской манер, убрался из самого внушительного в нашем городке отеля, поставив крест на всех широковещательных планах обороны,

каковое обстоятельство — и об этом следует сказать уже сейчас — сделало моего дядюшку первым лицом в городе, побудило молчаливого барона фон Г. поджечь свой дом, свою жену и самого себя, сперва облив все это для верности бензином, а у матери моей исторгло туманно-пророческое и ничего не поясняющее замечание: «Похоже, к концу идет дело. Слава тебе, господи, пронесло!» Вот и попробуйте тут что-нибудь разобрать!

Да и вообще в тот день я не понимал свою маму. До сего дня она отличалась спокойным, ровным нравом, на нее всегда можно было положиться. Вечерами она при затемненных окнах, в полной уверенности, что я сплю, слушала попеременно две иностранных радиостанции: английскую — «Germany calling»[1] и немецкую — «Господь, создавший железо…» — и так же регулярно и украдкой делилась всем, что нам полагалось, с двумя чехами, работавшими на угольном складе против нашего дома, единственную же на моей памяти материнскую пощечину залепила мне в ответ на категорическое мое пожелание стать не чем иным, как только военно-морским офицером, — да и во всем остальном вела себя вполне нормально. Тогда как в описываемый день у нее то и дело менялось настроение.

Перед обедом, когда я вернулся из своего разбойничьего похода, она сидела у радиоприемника, передававшего оглушительную духовую музыку, и отпарывала от моей юнгфольковской куртки погоны, знаки различия и серебряные пуговицы с таким видом, словно это самая естественная вещь на свете. Я, должно быть, разинув рот, смотрел на эту операцию, смутно догадываясь, что мать моя, дай ей волю, готова с помощью ножниц и бритвенного лезвия вспороть весь Великогерманский рейх. Это и был, очевидно, исходя из заданной темы, тот самый, первый, «миг». Сейчас это представляется мне тем более примечательным, что по радио как раз зазвучал прочувствованный голос военного обозревателя, призывающий всех немцев от мала до велика пасть геройской смертью в мундире фюрера. И это в тот самый момент, когда матушка с удовлетворением заметила, что в таком виде куртка моя наконец на что-нибудь сгодится. Покончив с этим делом, она собственноручно вывесила из окна спальни белую скатерть.

Позднее, после обеда, когда мы направились к дядюшке и город уже сверкал младенческой невинностью белых простынь, наши береговые катера принялись обстреливать два советских разведывательных самолета, но в результате сами подверглись обстрелу и были засыпаны мелкими хлопающими осколочными бомбами. Мы бросились в лес и укрылись в бункере, где несло экскрементами. Здесь матушка начала молиться. Это было в

нашем семействе столь непривычным явлением, что мать вдруг предстала мне в каком-то незнакомом и непонятном свете, отчего вся эта обстановка нагнала на меня тоску и страх. В темной яме под дощатым настилом, сквозь щели которого при каждом взрыве сеялись каскады пыли, я начал смутно подозревать, что из нашей жизни что-то ушло безвозвратно. И это, сказал бы я, был второй «миг».

Только в дядюшкином доме вернулась к матери обычная выдержка. Поплакав немного с присутствующими родственницами, — почему они плакали, оставалось для меня загадкой, — она утерла слезы одним из больших носовых платков моего отца и спокойно спросила дядю, за что ей приниматься. «Свари нам доброго грогу», — сказал дядя. И это в мае, при ярком солнце! Ничего тут не поймешь! Да и дядюшка, как мне показалось, был сегодня на себя не похож.

Я привык видеть его этаким невзрачным чиновником, который где-то в соседней конторе выдает жителям карточки на получение угля, незаметно, степенно курсирует по городу на своем велосипеде и, будучи местным старожилом, ни с кем, однако, не ведет знакомства. Сегодня же он даже выделялся среди всех других, статный, энергичный. Да и волосы были у него зачесаны не гладко, как обычно, а независимо вились, и на лице светились отблески чего-то, что в ту пору никто бы еще не решился назвать свободой. Казалось, он исполнен ожидания чего-то необычайного, и лицо его сияло уверенным спокойствием, которого не смущали ни одиночные выстрелы торпедных катеров, ни со звоном разлетающиеся оконные стекла.

Поначалу мы стояли в коридоре его дома в ожидании чего-то, что так и не происходило: быть может, тяжелая входная дверь сорвется с петель или в опустевших оконных рамах вдруг возникнет русское лицо, — лицо, которое я при всем желании не мог себе представить. Но вот перестрелка кончилась, торпедные катера стали постепенно погружаться в воду, гудящие самолеты русских легли на обратный курс, и дядюшка сказал:

— Что это мы стоим как неприкаянные? Где же твой грог, Марта?

Однако мать мою было невозможно доискаться. Наконец я обнаружил ее в чулане за кухней, где на большой плите уже дымился грог, и стал украдкой наблюдать, как она выдает двум молодым солдатам гражданское платье из дядюшкиного гардероба. Видно, все было заранее уговорено, потому что из-за моей спины тут же вынырнул дядюшка и стал посмеиваться над тем, как болтаются на их худых ногах широченные брюки.

— Ну, как, готовы?

А потом угостил всех грогом из тяжелых фаянсовых чашек. И даже меня не обошел. Первый раз в жизни я отведал грогу. И это, как мне теперь думается, было третьим «мигом».

Спустя немного оба солдата, превратившись в штатских увальней, вкатили во двор машину. Да не первую попавшуюся, а совершенно определенную, знакомую каждому в наших местах: лимузин командующего корпусом. Мать подала им большой белый флаг, укрепленный на палке от метлы, а дядюшка вынес из угольного сарая ярко-красный деревянный щит с надписью: «Не стрелять! Привет Красной Армии!» Понизу была выведена какая-то надпись незнакомыми, округлыми фигуристыми буквами — русскими, как пояснила мне мать. Дядя со щитом в руках уселся в отделанный красным кузов, тогда как оба новоиспеченных штатских забрались — один за рулевое колесо, другой за приборную доску. Машину окружила целая толпа. Размышляя над тем, какими судьбами в дядюшкином сарае оказался русский щит, я не заметил, откуда их столько набежало. Все стояли молча, и только несколько местных отелевладельцев, которые какой-нибудь месяц назад не удостоили бы дядюшку и взгляда, стали ему втолковывать, как вести с русскими переговоры. Очевидно, каждому здесь было ясно, что единственно мой дядя может взять эту миссию на себя. Итак, поставив перед собой щит, он заверил собравшихся, что нечего им беспокоиться, со всеми ними обойдутся по-хорошему, кроме тех, разумеется, кто заслужил справедливое наказание. Потому что, как он пояснил, войне пришел конец. Женщины снова ударились в слезы, мать и тетка одновременно крикнули: «Будь осторожен!» — и дядюшка, высоко подняв в воздух щит, как знамя, лихо покатил за ворота. Что твой командующий корпусом. И это был четвертый «миг».

За эффектной сценой последовала сумеречная интермедия в темноватой, прохладной дядюшкиной жилой комнате, куда, как мне казалось, набилась добрая половина наших горожан, топивших свой страх и тоску ожидания в нескончаемых пересудах, слезах и гроге. Мать и тетка усердно всех угощали. Я не припомню другого случая, чтобы люди с такой неутолимой жадностью накидывались на еду. Можно было подумать, что это для них последняя возможность поесть. Тем временем я услышал от матери, а также и других взрослых, которые до этого виду не подавали о своей осведомленности, из какой я семьи, — кто был мой отец, мой дядя, а также их братья и сестры. Выяснилось, что дядюшка, к примеру, не всю жизнь выдавал карточки на уголь, что в ту пору, когда я родился, он преподавал в школе, откуда его в наручниках и под пистолетным дулом выдворили как заведомого красного; что отец мой был с ним одна душа, как и

прочие мои дядья и тетки, и только чистая случайность избавила их от суровых последствий некоего уголовно-политического разбирательства.

— Да, да, сынок, — приговаривала мать, — так оно и было.

А тетка в который уже раз пустилась рассказывать, как, завернув в верблюжье одеяло, она укачивала меня на своих коленях и кормила размятым в молоке бананом. Тут они опять принялись все плакать, а я сидел между ними оглушенный этой новой, точно с неба свалившейся на меня семейной историей, с которой мне предстояло теперь свыкаться. И то был пятый «миг».

Наконец вернулся дядя. Что-то он показался мне бледным, все окружили его и стали кричать наперебой.

— Что случилось? Что случилось?

— Ах, — сказал он, — это дурачье мальчишки! Вервольфы! С пистолетами полезли на русские танки. — И вдруг, повернувшись, прикрикнул на меня: — Хорошо еще что ты здесь!

Я ничего взять в толк не мог: все уставились на меня, точно я за все в ответе и, того и гляди, разделаюсь по-свойски с каждым из них. Только мать за меня вступилась:

— Что с него за это спрашивать?

Женщины опять немного поплакали, и тут мой дядя, повысив голос, объявил, что через полтора часа здесь будут русские: он переговорил с командиром головного танкового разведотряда; мы с ними поладим миром. А затем все высыпали во двор и стали глядеть на горящие суда и на светло-голубое небо, и тут супруга одного отелевладельца объявила громким шепотом, что русские особенно падки до одеколона марки «4711» и с ними надо быть поосторожнее. Дядя одернул ее, сказав, что нечего глупости болтать, если ей здесь не нравится, пусть идет к себе домой, соберет свою парфюмерию и спрячется с ней в угольный погреб. На такое угощение, как картошка с одеколоном «4711», русские не позарятся. Кое-кто попробовал засмеяться, но это им не слишком удалось. Все со смущенным видом затрусили назад, в жилую комнату, не зная, как скоротать предстоящие томительные часы на ничейной земле.

Наконец русские появились. Они въехали во двор в своих квадратных автомобилях, на телегах и мотоциклах. Некоторые из них палили в воздух из своих неуклюжих автоматов, женщины визжали, мать кричала, что этого не вынесет, я спрятался под подоконник, а дядя вышел во двор и стал уговаривать русских успокоиться. Но те его не слушали и продолжали гомонить во дворе: топая сапогами, они последовали за дядей в комнату и, заливаясь смехом, принялись хлопать каждого по плечу. Я ждал, что они устремятся в спальню и накинутся на флаконы с духами,

но они вместо этого внесли в кухню зеленое эмалированное ведро, полное куриных яиц, и завернутый в плащ-палатку окорок, и дядюшка объявил присутствующим, что русским не мешает подкрепиться. Я увидел, как мать и тетка, дрожа всем телом, направились в кухню, услышал доносившийся оттуда перестук ножей, тарелок и сковородок вперемежку с веселым, громким разговором и пеньем русских, боязливый смех гостей в столовой и голос дядюшки, у которого на рукаве, откуда ни возьмись, появилась красная повязка и который всячески старался навести порядок.

Наконец русские и немцы расселись во дворе вокруг зеленых грузовиков — кто на стульях, кто в вынесенных из дому креслах, а кто и попросту на земле. Каждому была вручена тарелка о ветчиной и глазуньей, а мать, держа в руках русскую ковригу необычной четырехугольной формы и орудуя ножом мясника, отхватывала, точно саблей, большущие куски хлеба. Русские время от времени возглашали: «Гитлер капут, война капут!» — а немцы с натянутой улыбкой приговаривали: «Да-да!» — и ковырялись в яичнице, будто не зная, что с ней делать. Спустя немного русские повытаскивали из своих мешковидных ранцев бутылки и, раскупорив их зубами, пустили по кругу. Дядя и офицер в темно-синих бриджах, с множеством звякающих орденов на как-то странно стянутой ремнем гимнастерке сделали первый глоток. У дядюшки выступила на лице легкая краска, русский смеялся, а немцы вытаращились на бутылку, напрасно стараясь отыскать на ней этикетку «4711». Недоверчиво прикладывались они к бутылкам, которые все быстрее и быстрее делали круг и, к сожалению, не миновали и меня, — потому-то сегодня я и не могу сказать, что за речь произнес дядюшка с раскрасневшимся лицом и красной повязкой на рукаве; а также кто — матушка или какой русский — в конце концов уложил меня на кушетку в жилой комнате. Единственное, что я еще услышал, это как во дворе кто-то наигрывает на аккордеоне незнакомую, но удивительно доходчивую мягкую мелодию.

Таков и был, как мне думается, «последний миг» того солнечного майского дня, точная дата которого не удержалась в моей памяти. Когда матушка молилась и жарила русским яичницу. Когда дядюшка извлек из угольного сарая редкостный щит и был русским офицером возведен в сан бургомистра. Когда я обзавелся полевым телефоном и впервые отведал водки. Когда моя юнгфольковская куртка лишилась погон и серебряных пуговиц, а я зато узнал совершенно новую для меня семейную историю.

И когда в лимузине командующего корпусом встречать

Красную Армию и Новую Германию поехал красный учитель.

Перевод Р. Гальпериной.

Гюнтер Кунерт
ИЗРЯДНО ЗАБЫТЫЙ, НО НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ

Ненадежная память упорно приписывает первому дню уже окончившейся войны и еще не начавшегося мира события более поздних дней и окрашивает их эмоциями того первого дня, так что начинает казаться, будто это действительно случилось в тот знаменательный день, а может, и на самом деле все произошло тогда, и только недоверие к человеческой памяти, неспособной провести между событиями резкую грань, переместило их в более поздние времена. Что касается ночи, предшествовавшей тому дню, то тут память абсолютно уверена в себе. Среди дремлющих и ожидающих конца событий полутеней-полупризраков появляется дежурный орангутанг — уполномоченный по дому, с квадратными, как у фюрера, усиками, штатный полицейский на газовом заводе, где он изо дня в день избивает согнанных туда «восточных» рабочих — рабов третьего рейха на ближайшую тысячу лет. Через неделю после описываемого дня он бесследно исчезнет, а сейчас он сообщает приглушенным голосом, что в подвале в котельной разожжен огонь, и если кому надо кое-что сжечь, то можно сейчас же это и сделать! Более деликатное возвещение о надвигающемся конце «эпохи» трудно себе представить. Явно стараясь остаться незамеченными, поднимаются рьяные поборники расползающегося по швам режима, партийные чиновники — представители высшей расы, у которых заплетаются и подкашиваются ноги из-за отсутствия тренировки в требующих «деликатности» делах. Роясь во внутренних карманах, они исчезают в котельной. Последними поднимается супружеская чета, сын которой — «мученик» во имя идеи национал-социализма — якобы убит коммунистами на Арнсвальдерплац, а посему площадь отныне и до послезавтра (а это уже далекое будущее!) носит его имя. Сначала седовласая валькирия, за ней ее тощий, как жердь, очкастый супруг и, наконец, карликовый пудель, страдающий несварением желудка, — по этой причине мать национального героя в паузах между боями, когда пропитанный гарью и дымом воздух свободен от смертоносного металла, до тех пор массирует и мнет в руках крошечное животное на жалком клочке двора перед летним флигелем, пока оно наконец-то полностью не опорожнится. Когда же на следующий, уже знаменательный, день жители дома,

разобрав танковые заграждения на углу Велауэр- и Эльбингерштрассе, ссыпают ведрами песок и щебень — начинку бессмысленной теперь баррикады — в огромную воронку, то так внезапно лишившиеся своих привилегий родители национального героя стоят в одной цепочке со всеми, уже без собачки, и передают одно ведро за другим из рук в руки дальше: пустое — в одну, наполненное — в другую сторону. На сей раз память уверена в себе: в ведре, поданном старухой, лежит почти новенький, хорошо смазанный, с полной обоймой пистолет, сверкающий синевой вороненой стали, но прежде чем я успел им налюбоваться, развенчанная и разоруженная старуха настойчиво теребит меня, требуя передать ведро дальше. Если кому нужен заряженный пистолет калибра 7,65 мм, то пусть взломает асфальт на Велауэрштрассе и поработает там лопатой.

Но прежде чем события того первого дня настолько развернулись, что вступили в самую раннюю фазу строительства новой жизни, начав с разрушения старой; из вестибюля нашего дома должны были еще убраться фольксштурмовцы, где они засели, чтобы, вцепившись в темно-коричневые отполированные перила, до последнего драться на ступенях бельэтажа за обещанный «поворот в борьбе». Тем более что одно нападение, оказывается, уже успешно отбито, — память сохранила и это воспоминание, — а именно, неким портным, самым старшим среди довольно юных фольксштурмовцев. С помощью трофейной чересчур длинной русской винтовки и патронов от французского карабина (они, впрочем, не входили в затвор винтовки) он отбил у входа в дом атаку советского офицера, который не то вылез из своего танка, не то хотел вылезти или только выглянул из него. Так как свидетелей его подвига маловато, то храбрый портной, имитируя выстрел, рассказывает обо всем самолично. Память точно сохранила этот эпизод — импровизирующий паяц в действии.

В памяти сохранились также и дальнейшие события: рано утром на рассвете знаменательного дня, вскоре после того, как один из жителей дома поймал по детекторному приемнику сообщение, что Гитлер мертв и Дениц назначен его преемником, в подвале в котельной уже вовсю полыхали огнем нацистские партийные билеты, на углу Грейфсвальдер- и Эльбингерштрассе горела картотека полицейского участка, а портной и его «подмастерья» вдруг исчезли, словно их ветром сдуло. Даже само их присутствие здесь казалось уже нереальным, как и их смехотворная миссия: отсюда, из вестибюля этого дома, отстоять и отвоевать столицу третьего рейха (минус сам третий рейх). От них осталось лишь несколько фаустпатронов, не пригодные к

употреблению винтовки с чужими патронами да несколько стальных касок; все это вдруг сразу стало хламом, выброшенным, помнится, в противопожарный прудик на заднем дворе, да и сам-то прудик в какой-то из последовавших затем обычных дней засыпали и сровняли с землей.

Все решилось еще до рассвета — ждали только финального свистка. Шел ли тогда мелкий, смешанный с пеплом дождик, который, бывало, так часто после сильных пожаров, когда горели целые кварталы города, заштриховывал все пространство от неба до земли? Или в то прохладное майское утро светило солнце? Память, как и последние части вермахта перед наступающей Красной Армией, капитулирует перед погодой, — все это уже позабыто.

Укрывшись в подворотне, еще можно было изредка услышать отдельные далекие выстрелы. Зная, что их ожидает, кучка эсэсовцев кое-где пытается отсрочить хоть на четверть часа свою собственную казнь. Уже не свистят больше ни снаряды, ни мины. Беспомощно, словно ветви плакучей ивы, повисли оборванные трамвайные провода, наводя на грустные мысли: когда это еще здесь опять прогромыхает 4-й трамвай, поднимаясь от Франкфуртер-аллее и Балтенплац к Пренцлаер-аллее и Гезундбруннен? Забегая вперед, и опережая день, который еще не прожит, фантазия обращается к грядущему, рисуя картину хоть и радужную, но совершенно расплывчатую. Занимается новый день.

Троглодиты XX века, чуя опасность, лихорадочно снуют, норовя прошмыгнуть от логова к логову, тревожно озираясь, потом постепенно смелея: вот уже кое-кто из них стоит в подъездах домов, вот они уже кучками собираются под арками ворот, курят и энергично жестикулируют.

Вспоминаю, как я впервые залез на чугунный столб, служивший опорой фонарю и дорожному указателю, чтобы повесить одну из (не утопленных в пруду) касок на торчащую, как перекладина виселицы, эмалированную стрелку с названием города, вероятно, в тот день уже названного Эльблонгом, и тем самым символизировать конец. Видимо, и у других была потребность выразить визуально, что со старым покончено: там и сям с балконов и окоп свешиваются белые флаги, — скорее тряпки, чем флаги, — вывешенные незаметно. Капитуляция происходит так же анонимно, как и агрессия шесть лет назад. Тогда мы проснулись посреди ночи от рева моторов и, выглянув на улицу, увидели колонны бронетранспортеров, до отказа набитых человеческим «материалом», израсходованным потом ради того, чтобы в один прекрасный день представилась возможность повесить на фонаре стальную каску — акт

бессильного возмездия от имени всех недееспособных, ибо виновные были либо мертвы, либо попрятались по своим норам, либо в спешном порядке удрали на Запад, в то время как мини-Каины, одержимые безумной надеждой на спасение, остались и делают вид, будто каждый из них в душе всегда был Авелем и, само собой разумеется, жертвой фашизма.

Вспоминаю девушку в очках, с одутловатым, мучнистым лицом, только что вернувшуюся домой из эсэсовской школы для немецких матерей — «источника жизни» по-нацистски, — словно затем, чтобы пережить здесь этот день, о котором теперь слишком редко помнят. В пять минут первого она выбежала из дома навстречу советскому солдату, радуясь, что пришло наконец освобождение. Невозможно забыть, как она обнимала солдата, пытавшегося понять, что происходит, не ожидавшего да, по-видимому, и не желавшего столь бурного проявления признательности.

Воспоминания подбираются уже к середине дня и не могут обойти молчанием двух советских солдат, появившихся на углу Грейфсвальдерштрассе со стороны Александерплац. Оба они очень молоды, почти дети по сравнению со стариками из отряда фольксштурма, которые стоят тут же, на углу, перед забаррикадированной пивной, — она и по сей день находится там, — ожидая своего ареста: усталые, мрачные, безучастные ко всему, что произойдет. А между тем ничего не происходит. Оба паренька, заткнув пистолеты за мягкие голенища сапог и ведя за руль велосипед, идут себе разудалой походкой прямо посреди мостовой, лихо сдвинув на затылки свои фуражки, веселые и возбужденные, как после хорошего анекдота. На вопрос, откуда они, звонко кричат в ответ: «Москва! Москва!» — и показывают при этом большим пальцем назад, как будто Москва находится тут же, за углом. Но вот они замечают среди фольксштурмовцев человека в коротенькой маскировочной куртке и светлом кепи Африканского корпуса: «Офицер?» Тот, к кому относится этот окрик, мобилизованный под самый конец войны булочник или оптовый торговец сигарами, который из чистого тщеславия «организовал» себе столь щегольское обмундирование и пижонское кепи, чтобы производить именно то впечатление, которое для него теперь так нежелательно, энергично отнекивается. Впервые в истории Германии невыгодно быть принятым за офицера. Поистине великий день!

Отобрав у мнимого офицера пистолет и спрятав его за голенище сапога, оба паренька, так не похожие на настоящих вояк, успокаиваются. Война, судя по всему, окончена: «Гитлер капут!» С каждой минутой на перекрестке собирается все больше

народу: не пригодные к военной службе, имевшие броню или отсрочку, инвалиды и другие официально освобожденные от участия в войне лица. И солдат уже не видно за грязным, серым, живым кольцом любопытных. Из бездонных карманов солдатских штанов они извлекают махорку и раздают ее окружившим их людям, которые не знают, что с ней делать дальше. Тогда те двое скручивают из обрывков «Правды» маленькие фунтики, насыпают туда похожий на соломенную крошку табак, закуривают и с наслаждением затягиваются своей «козьей ножкой», едкий дым от которой дерет и саднит горло и легкие так, что заходишься в кашле.

Воспоминания текут дальше и ведут по бывшей Эльбингерштрассе к Книпродештрассе, мимо солдат, которые с кошками на ногах и катушками на спине тянут от дерева к дереву телефонные провода, а внизу, как раз под ними, на скамейке бульвара спит вечным сном какой-то старик с широко раскрытым ртом, — такой неестественно восковой и желтый, словно это плохо сработанный бутафорский труп.

Следующее воспоминание — даровые покупки того первого дня: входишь в лавку, давно уже взломанную голодным населением, берешь с полки три-четыре банки стручковой фасоли и выходишь на улицу. Так «покупали» все. Какой-то старик катит по мостовой круг швейцарского сыра размером с колесо от грузовика, другие везут на тарахтящих тачках рулоны форменного сукна с казарменных складов или тащат в наспех помытых пожарных ведрах мармелад.

На углу Книпродештрассе, прямо на тротуаре около сгоревших дотла домов, валяется изящная фигурка, словно опрокинутая скульптура Джакометти, только ее гладкая полированная поверхность отливает черным блеском; лишь со второго взгляда понимаешь, что это не скульптура из черного дерева, а обгоревший труп, пол которого уже неразличим. Обоняние хранит свои собственные незабываемые запахи пожарища: фосфора, чердачных балок, жженой резины, асфальта, горелого человеческого мяса.

И, наконец, нагромождение черных саркофагов — сожженных танков — поперек мостовой и прямо на тротуаре: остатки танкового сражения. Их назначение резко изменилось — они превратились в игрушки. Ибо мальчишки, которые все на свете — и войну, и ее конец — воспринимают лишь как необыкновенное приключение, уже карабкаются по гусеницам и колесам на блестящие безжизненные махины и, сладко замирая от страха, заглядывают через пробоины и люк внутрь мертвого танка. Булочные пока бездействуют, к вечеру взрослые размалывают в

ручной кофейной мельнице пшеничные зерна и пекут на плите из полученной муки без дрожжей и закваски странный, но удивительно вкусный хлеб — первый хлеб изрядно забытого, но незабываемого дня, первый хлеб никем не объявленного мира.

Перевод Г. Косарик.

Фриц Зельбман
НЕПЕРЕЖИТАЯ ИСТОРИЯ

Каждый год 8 мая в этой стране отмечают День Освобождения, в память о том дне, когда «третья империя» открыто объявила о своем банкротстве и официально было подтверждено, что фашистское чудовище наконец околело. «…я попрошу вас поднять этот бокал и выпить за…» Я, конечно, тоже праздновал, тоже поднимал бокал и пил: «Выпьем, дружище! За День Освобождения! Ты ведь не забыл?»

Но как-то раз смутил меня один журналист, газетчик, интервьюер; он хотел несколько оживить свою стандартную статью о празднике и в поисках какой-нибудь истории пришел ко мне, поскольку я слыл за мастера поставлять истории по любому поводу.

— Расскажите, пожалуйста, как вы сами встретили весть об освобождении, я имею в виду официальное освобождение восьмого мая? Наши читатели…

Да, такое не забывается, и я бы охотно помог, как обычно помогаю людям. Но тут, порывшись в памяти, я вдруг почувствовал себя почти беспомощным, более того — я даже немного испугался, ошеломленный собственным открытием: я так и не увидел этого «Дня Освобождения». «Как же так, именно вы?» Да, именно я, который, пожалуй, как никто другой, двенадцать с четвертью лет — и почти все это время в тюрьмах и концентрационных лагерях третьей империи — со всей страстью души своей ждал того дня, когда история пошлет ко всем чертям и отправит назад в преисподнюю вылезшую в один злосчастный для немецкого народа час гангстерскую банду нацистов, этих глупых, разложившихся, растленных типов, объединившихся вокруг преступного, как сам дьявол, проходимца с венских задворок, хитростью захвативших власть в Германия 30 января тридцать третьего года и навязавших немецкому народу ярмо из лжи и жестокости, безумных иллюзий и безудержных преступных инстинктов. Двенадцать лет и несколько недель, то есть больше четырех тысяч пятисот дней и ночей, почти всегда в одиночке за тюремной решеткой или в лагере, почти всегда под угрозой смерти, я мечтал о том часе, в неизбежность которого глубоко верило мое воспитанное на диалектическом материализме сознание, — о часе, когда будут с позором изгнаны осквернители Германии, эти гнусные враги человечества, а наша страна и наш народ станут свободными. И вот я — именно я — не встретил

вместе с другими этот с такой тоской ожидаемый день, день 8 мая 1945 года.

А вышло это так.

Первую партию заключенных концентрационного лагеря Флоссенбург в Верхнем Пфальце эвакуировали 20 апреля 1945 года, а всех остальных — во второй партии 22 апреля. Больные, слабые и неспособные идти пешком заключенные — всего пять тысяч человек — были брошены в лагере без продовольствия, без ухода, без медицинского и какого бы то ни было обеспечения вообще, и не остаться бы им в живых, опоздай американцы хоть на один день.

Почти все заключенные лагеря, двадцать тысяч узников, четырьмя колоннами по пять тысяч человек разными дорогами уходили глубже в тыл. Для большинства несчастных, шагавших в моей колонне, эта дорога была дорогой к смерти. Когда мы выходили из лагеря, каждому заключенному выдавали из мешков, выставленных у ворот, по горсти овса, который разрешалось высыпать в карман. Это была еда на целый день, и каждое утро снова горсть овса, больше ничего.

Другим трем колоннам повезло. Уже на второй день они попали к американцам; а мы же каждое утро снова отправлялись в путь, продвигаясь все дальше на юг, к цели нашего похода, к Дахау. Комендант, или как бы он там еще ни назывался, непрестанно торопил нас, гнал, травил, будто речь шла о конвоировании ценных грузов, которые нужно было вовремя переправить через Дунай по последнему, еще не взорванному мосту и будто от этого зависит дальнейшая жизнь его самого и всех приверженцев третьего рейха. Мы же представляли собой всего-навсего таявшую день ото дня кучку несчастных, больных, истощенных и полуживых от голода заключенных, в большинстве своем интернированных.

Мы шли днем, а на ночь нас сгоняли на какую-нибудь поляну или деревенский выгон; забором и колючей проволокой служила натянутая вокруг стоянки веревка. Каждое утро после такой промозглой апрельской ночи десяток-другой заключенных оставались лежать на земле замерзшими, окоченевшими трупами, — жертвы голода, слабости, дизентерии. Мы предоставляли деревенским жителям хоронить наших мертвых и шагали дальше. Каждую колонну сопровождала свора эсэсовцев, откормленных молодчиков с автоматами. Они убивали каждого, кто, ослабевая, отставал от колонны, шатаясь, превозмогая невероятные муки, одолевал еще несколько метров, не выдерживал и падал. Тогда подходили эти светловолосые бестии с засученными рукавами; они убивали лежащего, ногами

сталкивали его в кювет и шли дальше, горланя пьяными голосами свои нацистские песни.

Перейдя последний мост через Дунай, мы прибыли в Дахау, — меньше половины вышедших из Верхнего Пфальца, — а уже на следующее утро нам предстояло отправиться дальше, в Тироль, в альпийскую крепость, где некоторые безумные эсэсовские лидеры надумали найти себе убежище. Возможно, они надеялись продержаться там до тех лор, пока смерть Рузвельта или вожделенный распад антигитлеровской коалиции не даст им последнего шанса остаться в живых. А нас они хотели притащить в свою воображаемую альпийскую крепость, может быть, как заложников, может быть, как разменную монету, которая вдруг когда-нибудь пригодится, а может, только потому, что они уже не мыслили себе жизни без рабского труда заключенных.

Было 29 апреля, когда начался наш поход к Альпам. Мы договорились заранее всем коммунистам из нашей колонны устроить побег и осуществляли его обычно по ночам, а под конец даже днем. В Дахау нам удалось спасти последнего больного товарища, коммуниста из Вены. Оставалось еще только двое коммунистов из лагеря Флоссенбург, двое «меченых»: Вилли Ханнеманн из Фленсбурга и я. Наконец настал и наш черед: мы могли бежать. Некоторое время мы плелись вместе с колонной, постепенно замедляя шаг, и наконец присели на краю дороги, так что нам были видны только шагающие ноги — в эсэсовских сапогах, в солдатских брюках и, как зебра, полосатых штанах.

Вот колонна кончилась; прихрамывая, мы еще немного проковыляли следом за ней, делая вид, будто у нас болят ноги, но тотчас кинулись в спасительные заросли, едва только заключенные вошли в лес. Мы вырвались из цепей, мы сами освободили себя, но свободными еще не были.

С наступлением темноты мы пошли в ближайшую деревню, раздобыли себе кое-какое гражданское платье из запасов одежды нацистского общества пожертвований, попросились в какой-то дом переночевать, и его хозяин разрешил нам переспать на сеновале в сарае.

На следующее утро, проснувшись, я услышал доносившиеся снизу голоса. Я подполз к лазу: там, внизу, между двумя девушками, одетыми в форму вспомогательного персонала военно-воздушных сил, сидел фельдфебель в форме летчика и спарывал серебряные нашивки со своего кителя. И тогда я понял, что война кончилась и немецкий милитаризм был готов еще раз признать свое банкротство. Однако поражение германского нацизма и освобождение Германии и всей Европы еще не было объявлено официально и скреплено печатью. Еще бродили

группами отбившиеся от своих частей эсэсовцы, еще распоряжался в деревне немецкий майор, и мы опять ушли в лес. Лишь вечером мы наткнулись на американские танки и солдат, которые, как ни странно, не обратили на нас никакого внимания. Так мы безо всяких помех шагали все дальше на север, теперь уже по занятой американцами Южной Баварии в районе озера Штарнбергер-Зее, добрались до Мюнхена, три дня околачивались на американском сборном пункте для беженцев, пока нас наконец не выставили на заваленные обломками улицы Мюнхена о настоятельным требованием убраться на все четыре стороны. Что мы и не преминули сделать; это было 4 мая памятного 1945 года.

Мои мысли были заняты только тем, чтобы поскорее, не попадаясь на глаза американским патрулям, добраться до Лейпцига, где некогда был мой дом и где, как я имел все основания полагать, меня ждали неотложные дела. Днем мы шли, а ночью спали в каком-нибудь сарае или в стоявшем на отшибе крестьянском доме, а то и в лагере французских или чешских военнопленных или интернированных, ожидавших отправки на родину. Мы получали от них продукты и пели с ними много песен.

В один из дней наших странствий, когда мои израненные ноги едва двигались от усталости, свершилось долгожданное: главари третьего рейха и его вермахта — маршал, адмирал и генерал, — все еще надменные и важные, щеголяя маршальским жезлом, как мы потом видели на фотографиях, выползли из своих блиндажей, явились в ставку победителя в Карлсхорст, где своими именами и печатью скрепили акт о поражении и признали, что их преступные планы завоевания мира потерпели крах. Они сдались сами и сдали на милость победителя поруганную ими Германию, где господствовали двенадцать долгих лет.

И этот день стал концом войны, концом фашизма, днем освобождения, 8 мая. И, может быть, как раз в это самое время, в этот исторический час, недалеко от Ингольштадта вместе с Вилли Ханнеманном я карабкался по взорванному эсэсовцами мосту через Дунай; средняя часть его затонула, так что нам приходилось перебираться через него, цепляясь только одними руками за искореженные части, моста. День Освобождения шагал по сцене мировой истории — а я, самый заинтересованный в нем современник, ничего об этом не знал; он прошел мимо меня, и я, буквально выражаясь, не был свидетелем этого исторического момента. Газет не было, радио молчало, а если и были какие-то передачи, то чем бы я смог принимать их?

Об освобождении или, точнее, о самом факте его подписания

я узнал лишь в середине мая, явившись в первую местную партийную организацию коммунистов в Рётенбахе, маленьком городке близ Нюрнберга. Комендант города, американец, белая ворона в стае черных птиц американской военной бюрократии, передал в руки этой организации управление городом и всю политическую власть. Здесь-то я и узнал о событиях 8 мая. Но день этот был уже позади, стал историей, которая прошла мимо меня. Потом я снова увидел мой Лейпциг, а вскоре почувствовал себя опять таким же несвободным, как в совсем недавнем прошлом. Для антифашистов, и тем более для коммунистов, не было никакой политической свободы, никакой возможности действовать, и мне пришлось выдержать бой с мистером Итеном, который был некогда клерком нью-йоркского финансового мира, а теперь в мундире майора американской армии выступал в роли военного губернатора старинного торгового города Лейпцига. В конце концов мне пришлось уйти сначала в частичное, а потом уж и полное подполье. И снова в полном смысле слова я потерял свободу. Потом в первых числах июля наступила перемена. Я стоял около Новой ратуши в Лейпциге — я не мог более оставаться в моей нелегальной квартире в Шёнефельде, — я смотрел, как солдаты великой социалистической страны иа востоке шли мимо меня вместе со своим живописным обозом, который накопился у них за тысячи километров, пройденных с боями и победами: то были танки и гаубицы, джипы и телеги, велосипеды и сцепленные вместе станковые пулеметы. На краю тротуара, покинув подполье ради этого единственного часа, стоял я, переполненный и потрясенный сознанием того, что это не только смена оккупационных властей, а гораздо больше — это наступление свободы, настоящей свободы для меня и моей страны.

Официальный и исторический день освобождения, это знаменательное событие, датированное 8 мая 1945 года, прошло мимо меня, но оно все-таки свершилось, свершилось как для меня, так и для всех других. А потому я буду впредь, как и до сих пор, поднимать по такому торжественному случаю свой бокал и, может быть, подмигнув своему соседу, чокаться с ним: «Выпьем, дружище! За Освобождение! Ты ведь не забыл?»

Перевод М. Синеокой.

Генрик Кайш
ВЫРВИСЬ НА ВОЛЮ!

Вокруг меня — журчанье и бульканье. Нечто текучее обволакивает меня и мягко подталкивает. Я с трудом открываю глаза; это нечто — серо-зеленого цвета, оно прозрачное, впрочем, не настолько, чтобы сквозь него что-нибудь разглядеть. Я вроде плыву. Вернее — вяло отталкиваюсь ногами, а в руках силы вовсе нет. Но уж в плавании-то я толк знаю: если я и достиг кое-чего в спорте, так это в плавании. Ну конечно, вокруг меня — вода. Но почему мне невыносимо жарко, почему я весь в поту, хоть и нахожусь в воде, нет, под водой, как я только что понял. Недостижимо. Ах, тяжко, очень, очень тяжко! В груди боль, гадкая боль… Дышу с трудом. И плечо болит, черт побери! Скверно мне, ужас как скверно. Скорее на поверхность! Ни один человек не выдержит так долго под водой. Надо вынырнуть.

Удалось — вынырнул. Вокруг все стало светлее, прозрачнее, сам я — легче. Ну вот, теперь я на поверхности. Голова уже полностью снаружи. Вокруг меня воздух. И уже ничто не журчит, не булькает. Внезапно наступившая тишина действует на меня как взрыв. А свет в глазах все струится, но как-то по-другому — мягче, словно сквозь желтоватую дымку. Я вижу эту дымку, различаю и то, что ею окутано. Сперва проступает большая рама, в нее аккуратно врезан кусок синевы, а сбоку громоздится что-то темное. Да ведь это же дерево! До чего ж я рад дереву — его ветвям и листве. Есть в деревьях что-то близкое нам, почти одушевленное, они не журчат, не булькают. Но они шумят, да еще как! Что ж я, дурак, не слышу, что ли? Только шум этот совсем иной. Ну, ясно: рама — это раскрытое окно, а синева — кусок неба. Я в какой-то комнате, лежу на кровати. Кровать белая-белая. Пока все вроде бы понятно. Но что это накручено у меня на руке? И что это за резиновая кишка, которая вроде как входит в меня или, наоборот, из меня выходит и тянется кверху, к какому-то стеклянному баллону?

— Вот и прекрасно, он пришел в себя, — доносится издалека чей-то голос. — Это — главное. А теперь, сестра, соблюдать покой и по-прежнему давать физиологический раствор.

Главное… Физиологический раствор? Что все это значит?.. Хочется пить.

— Пи-ить!

— Пить просит, — говорит другой голос.

— Пить ему нельзя, — отвечает первый голос. — Только чуть

смочить рот.

Что-то влажное всовывают мне между губ. Я жадно сосу смоченный в воде уголок салфетки. Ах, как хорошо! Дымка перед глазами уже прозрачнее. Слева от окна различаю сидящую фигуру. Это мужчина. Он в форме: темно-синее сукно, серебряные пуговицы. На столе — головной убор из того же сукна: круглый, твердый, с прямым козырьком. Такие форменные фуражки в этой стране называются «кепи». До чего смешное блуждающее словечко! Ясно же, что это немецкое слово «кэппи», только переделанное на французский лад. Меня всегда занимал вопрос о том, какие слова, когда и при каких обстоятельствах заимствуются из других языков, в частности, из немецкого во французский. Интересный культурно-исторический процесс, тема для дипломной работы. Жаль, не удалось тогда за нее взяться, других забот было по горло… Но откуда взялось здесь это кепи, да и сам человек в форме? Похоже, полицейский, во всяком случае, здорово на него смахивает! Как — полицейский? Брось — неужели действительно полицейский? Ах ты, черт побери! Вот уж кто мне меньше всего нужен! Но где же это я? Как сюда попал? Да и что вообще со мной происходит?

Вода! Ну да, ведь я же из воды выбрался. Река под ночным, озаренным луною небом, до ужаса широкая, хоть и не такая широкая, как Рейн в том месте, где я мальчишкой — о, как давно это было! — в первый раз почувствовал, что, колотя руками и ногами по воде, могу держаться, на поверхности и даже продвигаюсь вперед и, стало быть, — какое победное открытие! — плыву, плыву, хотя все говорили, что мне еще рано, мал я… Конечно, эта река не так широка, как Рейн в моих родных местах, но все же решиться переплыть ее — не такое простое дело. Так почему же тогда — если это не такое простое дело — бросаюсь я ночью в реку? А потому, что на том берегу мерцает свет, пронизывая ночную мглу. Я должен туда добраться, там — спасение. Опомнись, в твоем-то состоянии? Да и свет лишь чуть-чуть мерцает где-то вдали, так что, если и доплывешь до берега, там еще идти и идти, а потом — даже если и переплывешь реку и дотащишься — как знать, что или кто там тебя ожидает? Э, все равно, надо туда добраться. В этом огоньке — надежда. Может, там люди, и они мне помогут. Смотри-ка, кровь так и хлещет из раны. Стекает вниз по груди, за пояс, я не могу ее остановить… Снял рубашку — она тоже продырявлена — обвязал ею грудь через плечо. А кровь все равно сочится. Это спереди, а ведь в спине у меня тоже дырка. Я отчетливо чувствую это при дыхании: воздух не заполняет легких, а с жутким глухим свистом вырывается из груди и из спины. Сзади, правда, свистит не так

громко, зато боль сильнее. И понятно почему: при сквозном ранении выходное отверстие, говорят, всегда больше входного. А ведь я ранен в грудь навылет. Гадина, нацистский подонок! Прострелил меня с двух метров, целился хладнокровно, как в зайца. А ведь мог попросту загнать обратно в вагон, я же поднял руки вверх, сообразил уже, что дело не выгорело, что выпрыгнул я напрасно. Я думал — сейчас он меня схватит и впихнет обратно в вагон, ну поколотит, конечно. Так нет! Вскинул винтовку, я упал, а он махнул рукой другим солдатам, — одни бежали вдоль поезда, другие повысовывались из окон, — крикнул что-то, вскочил на подножку вагона, остальные тоже, раздался гудок, и поезд укатил. А меня оставили валяться на щебне, в лунном свете. Комендант поезда представит рапорт: транспорт заключенных, согласно прилагаемому списку гренобльского гестапо, доставлен в полном составе, за исключением одного человека, который пытался дать дорогой стрекача, попрощаться, так сказать, по-французски, ха-ха, здесь этот оборот как нельзя более к месту — не правда ли, господин майор? Итак — за исключением одного человека, убитого при попытке к бегству. Расход боеприпасов — 1 патрон, прописью — один. Других чрезвычайных происшествий не было.

Мерзавца наци, подстрелившего меня при попытке к бегству, я запомнил на всю жизнь. Недурен собой, крепко сбит, большеголовый, светлые жесткие волосы коротко острижены. Бухмайр — по фамилии. Весь долгий, долгий день от зари до полуночи он сидел справа от меня на деревянной скамье, пока поезд медленно, с неоднократными остановками, катил на север, оставляя позади одну сотню километров за другой. У меня было время к нему приглядеться. Первые несколько часов обе стороны — и мы и он — еще держались настороженно. Потом мало-помалу стали перебрасываться словами. Ведь у любого человека, будь он нацистский солдат или же арестованный антифашист, есть потребность в общении, да к тому же его разбирает любопытство. Вот и возникает своего рода взаимное тяготение. То, что арестованный француз, которого ему поручено конвоировать, говорит по-немецки, нисколько не удивило ефрейтора Бухмайра. Владеть немецким обязаны все — не так ли? И я теперь мог отважиться вступить с ним в разговор. Я уже ничем не рисковал. Если бы ищейки из гестапо распознали во мне немца — вот тогда бы мне была крышка, однако они передали меня для дальнейшей обработки — только какой? — в другие руки. Но коль скоро я занесен в списки как француз и то же самое значится в акте, я мог, пожалуй, позволить себе поговорить с ефрейтором Бухмайром по-немецки. Что я и сделал, хоть на душе

у меня было далеко не так безмятежно, как, по всей видимости, у него. С благодушным видом, зажав карабин между коленями, он наблюдал за нами, семерыми порученными ему заключенными, с той смесью дружелюбия и твердого сознания своего служебного долга, которую, надо полагать, проявил бы и в том случае, если бы конвоировал в арестантскую солдат своей же роты, наказанных за самовольную отлучку.

— Я ничего против вашего брата не имею, — сказал он, и прозвучало это примерно так: «Вы такие же разнесчастные окопные свиньи, как и мы». Но затем добавил: — Только смотрите: сидеть тихо!

И вот, когда поезд остановился посреди поля, — а останавливался он часто, и всякий раз я страстно молил судьбу, чтобы откуда-то из засады выскочил отряд партизан, штурмом взял бы железнодорожную насыпь и освободил бы нас, — так вот, когда поезд еще раз стал, я произнес давно и тщательно обдуманную мною шутку:

— Отодвину-ка я сейчас засов и пойду прогуляться — только меня и видели!

Вагон наш был старой конструкции, и дверцы купе — каждое на восемь мест — открывались прямо наружу. Во всех купе размещалось по семи арестантов и по одному конвойному. Когда я произнес свое: «…прогуляться — только меня и видели», — караульный взглянул на меня без малейшей тревоги, но и без тени улыбки.

— Ты эти штучки брось! А то ведь я это ношу не просто напоказ! — сказал он и похлопал по своему карабину. Сдержит ли он и вправду свою угрозу? По некоторым причинам мне очень важно было бы это знать.

— И вы в самом деле пустили бы его в ход? — спросил я.

— Железно! — с несокрушимым спокойствием ответил он.

— Несмотря даже на то, что у нас с вами все так славно идет на лад?

Он закурил сигарету.

— А ты что ж, братец, думаешь, мне в этой войне своя шкура не дорога? — Тут он хотел было сунуть пачку сигарет в карман, но передумал, вынул одну сигарету и протянул мне. — Стрелять я буду, можешь не сомневаться, не то меня самого продырявят.

Сомнений нет, этот человек за столиком у окна — действительно полицейский. Мне это теперь ясно, как ясно и то, что это означает: прыжок мой был ни к чему, и все, что за ним последовало, тоже ни к чему не привело. А ведь сколько всего потом было! Но что же именно? В памяти всплывают картины и сплетаются в беспорядочный клубок. Как в нем разобраться? У

полицейского такая же большая голова, как у ефрейтора Бухмайра. Вот он встает, подходит, разглядывает меня. Бухмайрская голова сливается со стеклянным баллоном — они почти одной формы.

— Ну, — слышу я, — как дела?

Ответил я ему что-то? Или только шевельнулся?

— Спокойно, спокойно! — говорит он. — Вы дергаете шланг, а этого делать никак нельзя.

С превеликим трудом мне удается выговорить:

— Физиологический раствор… — И не узнаю своего голоса. Слышу какой-то беззвучный шепот.

— Правильно, — говорит Бухмайр, мой убийца Бухмайр, — физиологический раствор. Это для того, чтобы возместить потерю крови. Понимаете? Доктор вами доволен. Вы выкарабкаетесь.

Стало быть, я выкарабкаюсь. Бухмайр уложил меня на месте, а я выкарабкаюсь. Этак я могу невесть что о себе вообразить. А мне, по правде говоря, очень бы этого хотелось! Но почему — полицейский сообщает мне, что я выкарабкаюсь? И почему у него голова Бухмайра?

Ефрейтор Бухмайр — разве он не бросился мне в глаза еще на вокзале в Гренобле, где нас сажали в поезд? Он был одним из конвойных, которым перепоручило нас гестапо. Для переброски из тюрьмы на вокзал нас запихнули в крытый грузовик, однако я без труда угадывал, каким путем нас везут. При каждом повороте дороги я сквозь стены фургона мысленно видел тот неповторимой красоты альпийский пейзаж, который открывается с главных улиц города. Эти улицы были по-прежнему необычны и прекрасны, даже когда их уже топтали сапоги марширующих или фланирующих нацистов, тех, что в минувшем году не просто пришли на смену ставшим ненадежными жителям Альп, но после многодневной перестрелки заперли своих бывших итальянских союзников в казармах. Этим марширующим или фланирующим носителям сапог не хуже, чем местным жителям, было известно, что улицы города ведут к шоссейным дорогам, а те через несколько километров переходят в горные тропы, которые крутыми зигзагами поднимаются к высокогорному плато, представляющему как бы систему естественных укреплений. Там, наверху, власти оккупантов наступал конец. Там, наверху, еще задолго до освобождения Франции новая свободная Франция уже обретала свои будущие черты. Там к началу пятого лета войны уже все было в руках партизан, и оттуда, из высокогорных партизанских лагерей, маки́ все чаще спускались в долину для боевых действий и организации диверсий. Фашистские оккупанты уже хорошо познакомились с маки́, но все еще ничего не могли

против них предпринять — маки́ были недосягаемы. Как-то я даже был свидетелем одного разговора, где речь шла именно об этом. Гестаповца, который меня как раз допрашивал, посетил его коллега, в несколько минут они при мне вели беседу. Как я уже говорил, немцы считали, что я не понимаю их языка, и без стеснения изливали друг другу свои жалобы.

— Есть, например, такое местечко Вилар-де-Ланс, — сказал один из них. — Оно расположено на высоте тысячи метров и приобрело известность благодаря зимним олимпийским играм, впрочем, оно славится еще и своим медом, — так вот Вилар-де-Ланс кишмя кишит не только подозрительными личностями, но и самыми что ни на есть оголтелыми террористами, коммунистами и евреями. Оттуда можно было бы целыми вагонами забирать врагов рейха, стоит только как следует взяться, но, к сожалению, приходится сидеть сложа руки — нет подходящих для такой операции людей.

Да, так оно в действительности и было. Лишь много позднее того времени, к которому относится мой рассказ, немцам после сложной подготовки удалась крупная наступательная операция против маки́ в области Веркор, но успех этой операции уже не имел стратегического значения, немцы просто учинили резню мирного населения, мстя за свое долгое бессилие, и, оставив после себя пепелища, вынуждены были убраться не только из французских Альп, но и с территории Франции вообще.

Надо мне все-таки обуздать как-то свои мысли. Обрывки воспоминаний проносятся в голове без всякой связи. А ну-ка, давай приведи их в порядок! И мой полицейский, который опять уселся с газетой за столик, — ему тоже сейчас не место в моих мыслях. Я еще вернусь к нему и к вопросу — почему у него голова ефрейтора Бухмайра. Но сейчас речь идет о настоящем Бухмайре, о моей первой встрече с ним в то утро на гренобльском вокзале. Гестаповцу, сопровождавшему нашу партию, молодые солдаты-конвоиры, видимо, не внушали особого доверия, и он этого даже не скрывал. Я этого типа хорошо знал. Все называли его Большой Шарль. Он и сам так отрекомендовался мне, своему подследственному, еще при первом моем допросе и тут же, хрипло расхохотавшись, со всей мочи ткнул меня кулаком в лицо без малейшего, казалось бы, раздражения или злобы — просто, так сказать, порядка ради.

— Это моя визитная карточка, мосье, ясно? Я Большой Шарль. Чтобы у вас сразу же сложилось обо мне правильное представление. — По-французски он изъяснялся весьма и весьма коряво, но все же по большей части ему удавалось обходиться без переводчика. Впоследствии такие визитные карточки

преподносились мне не раз, да, впрочем, и не одни только визитные карточки.

Так вот, в то раннее летнее утро на гренобльском вокзале Большой Шарль правил свой еженедельный шабаш: он отправлял партию заключенных, которых сам арестовал, сам допросил и сам же подписал приказ об их отправке. Местом назначения в приказе значились Компьен или Дранси — два пересыльных лагеря во Франции, откуда заключенных переправляли в Бухенвальд, Маутхаузен или Освенцим. Вероятно, Большой Шарль подписал приказ своим настоящим немецким именем, которого я по сей день не знаю — да и откуда мне его знать? По правде говоря, в то время, о котором здесь идет речь, я даже не знал толком, что представляет собой это место, куда направлялся поезд с заключенными, и лишь позднее узнал о нем, как и о всех не менее страшных местах. Однако уже тогда мне было известно, что все немецкие концентрационные лагеря — это ад. У меня нет никакой охоты изображать из себя этакого преисполненного геройским духом, отважно презирающего опасности рыцаря Ланселота; я был просто обыкновенным узником, этапируемым в концлагерь и затаившим в сердце, — трезво взвесив весь сопряженный с этим риск, — непреклонное решение бежать или, по крайней мере, попытаться бежать при малейшей возможности. В течение целого месяца, с той самой минуты, когда я попал в лапы к фашистам, изо дня в день я твердил себе, повторял, вдалбливал: терять тебе нечего, а выиграть ты можешь все! При первом же удобном случае, — пусть надежда на успех будет ничтожна, — надо попытаться! Как бы ни было мало шансов спастись, но ведь, если бездействовать, их будет еще меньше. И вот, когда такой случай наконец внезапно представился, я не раздумывал, не колебался — решение созрело давно. Я был готов. Ведь и шанс существует лишь одно мгновение, на то он и шанс, — еще секунда, и его уже нет. К тому же я никак не берусь утверждать, что совершил бы свой прыжок, будь у меня время хорошенько обдумать все таящиеся в нем возможности и все скрытые опасности. В ту минуту, когда моя рука легла на дверной засов, я действовал в соответствии с этим давно принятым решением, обуславливающим неукоснительность поведения при любых обстоятельствах. Это правило, непреложное вообще, должно было иметь силу и в обстоятельствах исключительных. На это я полагался. Был ли я прав, полагаясь на это? К чему это меня привело? Присутствие полицейского с большой головой ефрейтора Бухмайра, на которую было, однако, напялено французское кепи, — присутствие этого полицейского, сидящего возле кровати, где, беспомощный, с пулевым ранением навылет,

лежал я, казалось, неопровержимо доказывало: мой прыжок и все, что за ним последовало, не привели ни к чему. Я только угодил из одной неволи в другую. Существует великое множество экземпляров, подобных ефрейтору Бухмайру, моему убийце!

Ну, так вот, снова возвращаюсь к Бухмайру, — он мне бросился в глаза еще на вокзале, при отправке. Конвойные, видно, не внушали Большому Шарлю особого доверия, и он самолично выстроил их, вооруженных карабинами и автоматами, в две шеренги. По этому коридору нас прогнали под его наблюдением сквозь поток пассажиров, — те боязливо поглядывали на нас и тут же отводили глаза, — по перрону к вагонам. Все это время Большой Шарль ни одного из заключенных ни на секунду не терял из виду, и лишь после того, как мы все забрались в вагоны и он удостоверился, что в каждом купе имеется вооруженный конвоир, лишь после этого он позволил себе скрыться в здании вокзала. И вот тут-то мне впервые бросился в глаза Бухмайр, мой убийца Бухмайр. Правда, на призыв Большого Шарля проявлять бдительность и не спускать глаз с семи вверенных ему террористов он лихо отрапортовал: «Есть!» Однако тут же, хоть и значительно тише, но вполне явственно, ругнулся сквозь зубы — бросил по адресу Большого Шарля словцо, которому отнюдь не место в альбомных стишках для молодых девиц. Эге, подумал я, да ты бунтовщик! Но не прошло и суток, как мне пришлось убедиться, что бунт ефрейтора Бухмайра полностью исчерпался этим словесным взрывом, который к тому же относился не к возложенному на него поручению, а к Большому Шарлю, усомнившемуся в его способности это поручение выполнить.

А что поделывает мой полицейский? Я посмотрел в окно. И тут, когда я слегка приподнялся, повернув голову, чтобы в поле моего зрения оказались окно и стол, то почувствовал, что подобные небольшие движения не причиняют мне такой уж нестерпимой боли. Это что-то новое.

Собственно говоря, ново уже то, что я вообще в состоянии шевелиться. Что-то изменилось. Больше я уже не плыву под водой, отчаянно пытаясь вынырнуть. Пространство и свет уже не обволакивают меня, словно поток или прозрачная дымка. Я уже не тот, кому, подбадривая его, говорят, что он выживет, — нет, теперь я сам знаю: выживу! А коли так — ну-ка, господин полицейский, на пару слов: что ты тут, собственно, делаешь? Кому повинуешься? Чего мне от тебя ждать? Ты тоже станешь стрелять в меня?

Вот так так! Полицейского-то моего подменили. У того, первого, которого, сдается мне, я уже упоминал, была голова

Бухмайра, а у этого голова как голова и вполне нормальное человеческое лицо. Разница становится очевидной, когда он подходит к стойке, на которой укреплен стеклянный баллон. А где же резиновая кишка, соединявшая меня с этим баллоном?

Мой новый полицейский улыбается.

— Физиологического раствора больше нет, — говорит он.

Тут откуда-то возникает безмолвная черная фигура, увенчанная белым треугольником, а под треугольником — пара глаз, больших и кротких.

— Ну, мне думается, сестра, теперь он и вправду выкарабкался, — обращается мой полицейский к черной монахине. А она в ответ:

— Да ведь уже третий день.

Монахиня осторожно просовывает мне под голову руку; другой рукой в широком черном рукаве, свисающем с локтя, подносит к моим губам поильник.

— Выпейте, — слышу я.

Я не знаю, что я пью, — что-то тепловатое, безвкусное, но я жадно глотаю жидкость. Затем рука отодвигается, голова моя вновь опускается на подушку, монахиня уходит, полицейский смотрит на меня.

— Что вы здесь делаете? — спрашиваю я его. — Вас прислали тому на смену?

Он кивает.

— Мы же каждые восемь часов сменяемся: утренняя смена, дневная, ночная — точно по часам. Тебя, браток, сторожить одно удовольствие — спокойно, неутомительно. Что-то не похоже пока, чтобы у тебя явилась охота сбежать.

Голова у него не бухмайрская, но теперь я вижу, что он тоже Бухмайр. Он засовывает большой палец под кожаный пояс, выпячивает грудь. Из кобуры на поясе выглядывает рукоятка пистолета.

— Вы меня караулите? — спрашиваю я.

Он удивляется:

— Ну да, а то как же?

— Зачем?

Он поднимает плечи, брови тоже ползут вверх — он само олицетворение простодушия.

— Приказ есть приказ. А что к чему — нам не объясняют. Сам небось знаешь, кто продырявил тебе шкуру и почему. Такой случай как раз по части полиции, разве не так?

Ах, вот оно что! Они предполагают уголовщину, этакую драму из блатного мира: уголовники сводят счеты, неизвестный преступник укладывает на месте своего сообщника. Да,

собственно, такое предположение напрашивается само собой. Я должен разъяснить это недоразумение. Да, но как? Какое безобидное объяснение может дать продырявленный пулею человек? Как объяснить, почему он продырявлен? Сказать правду? Ну, нет. Только не этим субъектам! Наш поезд — это я доподлинно знаю — где-то после полудня пересек границу между южной и северной зонами. Ефрейтор Бухмайр, обрадованный тем, что изрядный отрезок пути уже пройден, сам обратил тогда на это наше внимание. С виду вроде бы никакой разницы. По обе стороны границы — все те же немцы, обе зоны оккупированы. А все ж таки разница есть. На юге немцы не держат всех чиновников, вплоть до самых незначительных, под неусыпным контролем, и у патриотов, у людей доброй воли, остается кое-какая возможность действовать. Но теперь мы уже на севере, у Лаваля — у этого фашиста, матерого коллаборациониста. Здесь все подчинено непосредственно немцам. Все управление, любая должность, любое учреждение и, уж конечно, полиция! Ни в коем случае мне нельзя проболтаться, откуда я взялся, не то попадешь из огня да в полымя!

Да, из огня да в полымя, из одной неволи — в другую. Напрасным оказался мой прыжок, ни к чему было и то, что за ним последовало. От одного Бухмайра к другому, кто бы мог подумать? А ведь в начале все складывалось так благоприятно — прямо как в сказке. Возможность побега возникла внезапно, когда меньше всего можно было ее ожидать. Была ночь. Замедлившийся стук вагонных колес вывел меня из полузабытья, в которое я было впал, хотя на узкой деревянной скамье не очень-то разоспишься! Сомнения нет, наш поезд замедлял ход. В этом не было ничего необычного, так случалось десятки раз в день. Я слышу протяжный свисток паровоза. За стенами вагона — ночь, но лунная, небывало светлая, так что я различаю каждое лицо, каждый предмет в нашем купе. И столь же отчетливо-резко вижу в окне равнину в молочном свете луны. Рядом со мной и напротив, свесив головы или привалившись друг к другу, спят мои шестеро спутников, товарищей по несчастью. Никого из них я до этого дня не знал; в тюрьме я совсем недолго находился в общей камере — большей частью был в одиночке. И все же одного-единственного дня, который мы провели вместе в этом вагоне, обуреваемые одними и теми же мыслями, отламывая свой кусок хлеба от одной буханки, задавая друг другу одни и те же осторожные вопросы и одинаково осторожно на них отвечая, — ибо ефрейтор всегда здесь, и никто не знает, насколько он успел понатореть во французском языке, — да, одного этого дня хватило, чтобы между нами возникло общение. Не все мои соседи по купе были из тех

людей, для кого эта поездка в слишком хорошо известную неизвестность являлась расплатой за их активное участие в движении Сопротивления. Немцы давно перестали делать вид, будто им наплевать на народное сопротивление, которое в некоторых областях уже приняло массовый характер, и теперь хватают всех без разбору. Во время облав они то и дело арестовывают людей, никогда даже не помышлявших хоть в чем-то дать отпор оккупантам. Они берут наугад, лишь бы нагнать страху, запугать, а также в надежде на заманчивый улов. И поэтому сознательно идут на возможность такого количества судебных ошибок, которое является прямым издевательством над всеми нормами уголовного права. Так рыбак, забрасывая свой невод, соблюдает при этом известный расчет. Пусть лишь ничтожная часть улова представляет интерес, но именно ради нее огромное количество прочей рыбы должно попасть в сеть. Эту не представляющую для рыбака интереса рыбу в лучшем случае выбросят обратно в море. Хуже, если она успеет издохнуть еще раньше или пойдет в дело наравне с остальной, ибо ни один рыбак не в состоянии так тщательно отсортировать свой улов; в общем, все это дело случая, а разум и справедливость здесь вовсе ни при чем. За то недолгое время, которое я провел в общей камере после одиночки, я свел знакомство с одним из своих современников; этот человек разводил голубей, был активным членом Общества голубятников и не раз получал призы на конкурсах. Он мог без умолку говорить о своих голубях, — знания его в этой области были неисчерпаемы. А на то, что у всех было на языке, — война, оккупация, сопротивление, — он попросту не реагировал; эти слова не находили ни малейшего отклика в его душе, и не в силу какой-либо сугубой осторожности, что вполне допустимо по отношению даже к товарищам по камере, отнюдь нет, а просто в силу глубочайшего равнодушия ко всему, что не касалось лично его самого. Вот к этому-то человеку в его домишко в пять часов утра ворвались гестаповцы, перерыли там все сверху донизу, голубей перебили, семье пригрозили расправой, а его самого забрали, и прошло немало времени, прежде чем разъяснилось — почему постигла его такая участь. Оказалось, что на него пало подозрение, будто он посылал своих голубей и воздушным путем, минуя всякую цензуру и контроль, нес связную службу для организации Сопротивления. Кому-то пришло в голову, что подобное использование голубей вполне возможно, и этого оказалось достаточно, чтобы бросить в тюрьму многих добрых людей из Общества голубятников.

Этого любителя голубей нет среди моих товарищей по купе. Но ведь вон те двое у окна — также ни в чем не повинны. А этого

молодого парня забрал патруль, когда он со своей невестой прогуливался по лесу. В этом лесу незадолго до того был обнаружен склад оружия — что ж, разве это не достаточный повод для ареста? Судя по тому, что он мне теперь об этом рассказывал, не исключено, что ему и в самом деле было кое-что известно про этот склад. Но улик против него у фашистов было не больше, чем против доброй дюжины других гулявших в лесу, которых они тоже забрали и уже больше не выпустили на волю. Система, по которой они действовали, опиралась на теорию вероятности. Можно было с достаточной уверенностью предположить, что среди десятка наугад задерживаемых лиц должен попасться хотя бы один активный борец Сопротивления. Вышеозначенное мероприятие давало возможность его обезвредить, и к тому же отпадала всякая необходимость опознавать его и уличать. Именно таким путем попал в лапы гестапо и я. Произошло это 2 мая во время поездки в горы. Накануне мы там, в горах, скромно, применительно к условиям, но с горячим воодушевлением в сердцах справили Майский праздник. Я сидел в автобусе и думал о нашей близкой победе. Сообщения, которые ежедневно поступали по моему радио для нашего рукописного подпольного бюллетеня, были самые обнадеживающие. Каждый день я передвигал флажки на карте Восточного фронта, висевшей на стене моей комнаты: советские армии повсюду гнали неприятеля на запад. Монтекассино — ключ к северной части Италии, где фашисты упорно держались несколько месяцев, был накануне сдачи. Долгожданная высадка союзников на западе ожидалась со дня на день, это уже чувствовал каждый и этим жил. Для всех нас, для борцов Сопротивления, она послужит сигналом к выступлению. Да, победа наша была близка.

Тут завизжали тормоза, и дребезжащий автобус остановился. Немецкие солдаты образовали заграждение поперек шоссе и, угрожая оружием, заставили нас выйти из автобуса: «Гоп-гоп! Живей, живей! Вещи оставить!» Двое солдат принялись обшаривать автобус и наш скарб, остальные выстроили нас на пашне вдоль дороги, уперев нам в спины дула автоматов. Мы стояли молча, не шевелясь, подняв руки вверх, и ждали, пока они нас обыскивали и по одному уводили на допрос. Мало кто из нас мог дать удовлетворительные ответы на все их вопросы: откуда и куда мы едем, род занятий, семейное положение, место жительства, источник существования, исполнение трудовой повинности, назначение того или иного имевшегося при себе предмета, значение той или иной бумажки или фотографии, обнаруженной в кармане. Не мог сделать этого и я: слишком уж

многое из содержимого моих карманов плохо вязалось с моим объяснением, что я, дескать, еду за город к своим знакомым, пригласившим меня погостить у них денька два. Так вот и попал я в эту наугад закинутую сеть — рыбка не из самых крупных, но все же представляющая некоторый интерес.

Как ни парадоксально, но именно эта случайность ареста, которая, казалось бы, должна была облегчить мое положение, именно она и явилась источником самой жгучей моей тревоги в последовавшие затем недели. Ведь мои товарищи и соратники, естественно, могли опасаться, что я стал жертвой доноса, что в нашу среду проник шпик, и, следовательно, надо рвать все контакты и приостановить намеченные операции. Этого требовали правила подпольной борьбы. И только одному мне было известно, что на сей раз нет никаких оснований соблюдать эти правила. Никто на меня не доносил, и было крайне важно, чтобы мои товарищи об этом узнали. Я ломал себе голову, как бы поставить их в известность, и ничего придумать не мог.

Поезд совершенно явно с каждой секундой замедляет ход. Если сейчас спрыгнуть, пока он так ползет, риска особого, вероятно, не будет. Нужно прыгать, согнувшись, пружиня в щиколотках и в коленях, смягчая этим сотрясение от толчка оземь, а потом свободно катиться этаким клубком, куда покатит, только непременно защитить голову руками. Кажется, примерно так полагается это делать, таково искусство спрыгивания на ходу — я когда-то читал, что эту технику применяют спортсмены, дублирующие кинематографических звезд в тех эпизодах, где легко можно свернуть себе шею. Так надо бы сейчас действовать и мне. Но вот загвоздка — Бухмайр. Я и спрыгнуть не успею, как он меня сцапает. Да куда там, — он сцапает меня, прежде чем я отодвину засов. Да, Бухмайр… Постой, что это я говорю: Бухмайр тут? Где же он? Где Бухмайр?

Бухмайр вовсе не сидит возле меня, где ему положено сидеть. Я просто глазам своим не верю, щупаю руками пустую скамью. Нет его, нет. Ну теперь уж нечего раздумывать над тем, где он может находиться, — в соседнем ли купе у другого конвойного, в уборной ли или еще где. Нет Бухмайра, и все тут. Купе не охраняется, поезд медленно тащится по ровной местности, отодвинуть засов легче легкого. Миг, о котором ты мечтал, наступил. Ты же верил, что он наступит. И он наступил. Так не раздумывай! Скорей! Скорей! Прыгай, братец, прыгай!

Я оглядываю своих спящих спутников. Разбудить их, указать им на возможность побега, тем более обсуждать, имеет ли он смысл, — времени нет. Каждую секунду Бухмайр может вернуться. Прыгай! Ты вправе это сделать. Но одного, хоть одного

я спрошу — не попытается ли и он тоже бежать. Хотя бы того, что рядом со мною. Он уже немолод, часовщик до профессии, рассказывал он о себе мало и скупо, но за этим угадывалось нечто большее, и я чувствую, что он мне чем-то сродни. Тихонько расталкиваю его. Он просыпается не сразу. Чуть шевельнулся, потом открыл глаза, смотрит растерянно. Я прикладываю палец к губам — тсс! — и указываю на пустое сиденье Бухмайра, потом на дверь, на засов и делаю взмах рукой — туда на волю! Это доходит до него не сразу, сначала он принимает все за шутку, но затем видит, что я не шучу. На какой-то миг весь напрягается, хочет вскочить, но тут же снова обмякает и остается сидеть на скамье. Уныло качает головой. Он не готов к побегу. Ладно, товарищ! Тебе лучше знать, как ты должен поступить, — я же знаю, как следует поступить мне. Я легонько хлопаю его по плечу; в ответ он салютует мне, подняв сжатую в кулак руку: счастливо! Я поворачиваюсь к двери, берусь за засов. С момента, как я проснулся, прошло не более двух-трех секунд.

Какая светлая ночь. Не упомню второй такой светлой ночи. Ну, прыгаю. Я совершенно отчетливо вижу, куда прыгать. Каждый камешек можно различить. Тень катящихся вагонов, примерно в метр шириной, скользит вдоль полотна. Как резки тени в лунном свете! Я спрыгиваю в эту полосу тени и бросаюсь наземь. Поезд идет так медленно, что все эти акробатические трюки из приключенческих фильмов ни к чему. Я лежу плашмя, прильнув к земле. Я цел и невредим и мог бы тотчас же вскочить и бежать и бежать. Но на залитой лунным светом равнине меня скорее могут заметить с поезда. И я продолжаю лежать у самых рельсов, в тени поезда, в темном укрытии, где меня не видно даже из окон вагонов. Подожду, пока не скроется из глаз последний вагон. Я на диво спокоен, у меня все обдумано и все идет по плану, как я и предвидел.

Но что это — неужели задуманное мною перестает сбываться? Два или три вагона проехали мимо. В ушах стоит грохот колес. Но, кажется, он стал тише, неужели колеса крутятся медленнее? Я еще не хочу признаться себе в этом, не хочу верить, но в глубине души уже понимаю: поезд, который и так еле тащился, еще больше замедляет ход. Скорей, проклятый поезд, скорей! Ну же, прибавь хоть чуточку скорости! Сгинь, скройся! Я приникаю к земле, хочу слиться с тенью, я уже ничего не вижу, только шум поезда у меня в ушах… Визг тормозов перекрывает грохот колес, грохот переходит в неровное постукивание и затихает — поезд стал. Он стоит! Что теперь будет? Сигнал тревоги вспарывает внезапно наступившую тишину. Раздается команда. Я поднимаю голову, окидываю взглядом вагоны. Из окон

высунулись солдаты, машут руками, а другие уже выскакивают из вагонов с автоматами наперевес. Бросаются врассыпную. Один бежит прямо на меня. Это Бухмайр. Привет, ефрейтор! Сам же виноват, что я причинил тебе столько хлопот: где ты был в тот миг, когда тебе надлежало стеною стать между мной и моим единственным шансом на спасение? Ну, чего тебя так перекосило от бешенства, — ведь все кончилось не так уж плохо — для тебя, разумеется: ты ведь не попадешь под трибунал за то, что покинул пост, выйдешь из войны целехоньким, раз уж сумел так устроиться, что дуло твоего карабина нацелено только на безоружных вроде меня; в России все было бы совсем по-другому, и ты рад-радешенек, — сам же мне говорил, — что остался здесь, в прекрасной Франции, и можешь спокойно постреливать себе оккупантскими пулями, до поры до времени, конечно, — этот твой покой ненадолго, теперь это уже каждому ясно. И нечего тебе так яриться, не можешь же ты, в самом деле, винить меня в том, что я ухватился за свой единственный шанс. Право на побег — исконное право всякого узника. Твое дело этому воспрепятствовать, но ставить это в вину — ты не вправе. Вот видишь, я уже поднимаюсь. Чего ж ты орешь: «Руки вверх!» Пожалуйста, я и руки подыму. Я сдаюсь. Признаю, прыжок мой был напрасен. Будем, стало быть, продолжать вместе наше с тобой путешествие до самого конца. Да ты что это, зачем вскидываешь карабин? На что это тебе? А, понимаю, на тебя смотрят! Твои товарищи и все офицеры смотрят на тебя, и нужно разыграть маленький спектакль, чтобы они позабыли о том, что ты нарушил устав; тебе нужно изобразить ярость: ведь этот выродок-коммунист так коварно подвел честного немца, обманул его доверие, его благородную веру в людей! Право, я тебя понимаю, ты всего только разнесчастная свинья. Да, из нас двоих, ефрейтор Бухмайр, разнесчастная свинья — это именно ты, а не я, хоть ты и думаешь иначе.

— Ах ты свинья!

Ефрейтор Бухмайр теперь уже в двух метрах от меня. Лицо его искажено яростью, в неестественно ярком свете луны я различаю даже, как дрожат его губы, когда он выкрикивает:

— Ах ты свинья!

Вот он остановился передо мной, карабин к плечу, — тот самый карабин, который я весь день видел у него в руках между колен, который он носит «не только напоказ», — он, конечно, и в самом деле думал то, что говорил. Яркая вспышка, резкий сухой щелчок; славно удар бичом в грудь, боль побежала к плечу, меня опрокинуло навзничь. Что это? Неужто он и вправду спустил курок, наш славный ефрейтор Бухмайр? Мерзавец, нацистская

гадина! Эх, слабоват я по части ругани, а ведь есть такие забористые, крепкие словечки, в них можно излить всю злобу, всю ненависть, а у меня их нет про запас, от гнева я только заикаться начинаю. Одно могу сказать тебе, Бухмайр: ты самая мерзкая нацистская свинья, и я от всего сердца надеюсь, что близок тот час, когда кто-то отплатит тебе за нее!

— Спокойней, вам нельзя так метаться! Повязки сорвете! Что с вами! Что-нибудь страшное приснилось?

Это, наверное, врач. Голос тот самый, который говорил тогда что-то о физиологическом растворе. Теперь он говорит, что я выкарабкался. Окончательно выкарабкался, опасности для жизни больше нет. Вы так говорите, доктор, потому что имеете в виду лишь те опасности, с которыми можете справиться с помощью ваших хирургических инструментов, а для меня, пока вон там, за столиком, сидит полицейский, каждые восемь часов сменяемый другим, опасность не миновала. Вот и сейчас сидит уже новый, сколько их здесь перебывало, и все, как один, — Бухмайры.

Да, это полицейский надзор. Доктор, видимо, несколько смущен. Таково предписание, он тут бессилен. Когда к ним в больницу доставляют людей с огнестрельным ранением, они обязаны сообщать об этом. Ведь это не обычный частный случай, вы же понимаете? Впрочем, такое правило соблюдалось и прежде. Беда только в том, что теперь в эти дела стали встревать немцы. Надзор за вами, друг мой, установлен комендатурой — говорю вам, все как есть. Они расследуют каждый подобный случай, и вы, надо думать, легко можете догадаться, что, уж конечно, их интересует не статистическая кривая уголовных дел во Франции. Нервничают господа немцы. Каждый день, а тем паче каждую дочь, разное здесь случается. Наш сонный провинциальный городок Мелэн много кое-чего таит в себе. Вы сами-то здешний? Нет? Ну, так я и думал. Все коммуникации, связывающие Париж с югом, с Лионом, с Средиземным морем, пересекаются здесь — железнодорожная линия, шоссе, речной транспорт по Сене. Здесь расположены мосты, маневровый вокзал, диспетчерские. И все это достаточно близко — всего в пятидесяти километрах — от Парижа; достаточно близко, чтобы представлять для немцев особый интерес, и в то же время достаточно далеко, чтобы иметь самостоятельное значение. Немцы это понимают, но ведь и еще кое-кто понимает, не так ли? Э, да кому я все это рассказываю! Простите, не подумайте, что я хочу вам что-то приписать. Я ведь в общем-то не знаю, что и как с вами произошло, но зато я знаю, что в нынешние времена далеко не всякий, в кого стреляли, непременно должен оказаться подозрительным субъектом. По мне, так вполне можно было бы обойтись без всякого донесения.

Лично у меня могут быть кое-какие соображения по поводу случившегося. Но о вашем поступлении в больницу известно не одному десятку лиц. А это уж многовато. Я не хочу сказать, что кто-нибудь непременно на нас донес бы. Та супружеская пара, что вас подобрала, в сущности, спасла вам жизнь, — зачем бы они стали вам вредить? И тем не менее — персонал амбулатории, привратник больницы, хирургический персонал, пациенты — не слишком ли много людей посвящены в эту историю? Ну, ну, не волнуйтесь! До сих пор никто из немцев о вас не осведомлялся. А если уж это произойдет, вы так или иначе непременно об этом узнаете. Пока что вы далеко не в таком состоянии, чтобы вынести перевозку. То, что вы остались живы, с медицинской точки зрения можно считать почти что чудом. Вам известно, где вы лежите? В эту палату мы кладем тех, для кого летальный исход считаем неизбежным. Сейчас мы могли бы уже перенести вас отсюда в другую палату, но, на мой взгляд, вам лучше еще полежать здесь, подальше от глаз, так для вас будет полезнее.

Супружеская пара, которая меня подобрала? Как же это произошло? Как? Маленький домик на окраине уходящего вдаль селения, закрытые ставни, сердитый собачий лай. Я в изнеможении опускаюсь на что-то мягкое, на невысокую, не выше колен, кучу чего-то мягкого, — быть может, навоза, подсушенного сверху солнцем и ветром. Но ведь до этого я был в воде, я плыл, вдали мерцал свет, и я к нему плыл. А еще раньше… Я должен, должен вспомнить!.. Бухмайр, скотина, стреляет в меня в упор. Я падаю навзничь, и в голове у меня мелькает мысль о том, что мне доводилось слышать или читать про состояние души человека в минуту смерти. В этот миг, как сообщают некоторые просвещенные люди, перед духовным взором человека молниеносно проносится вся его жизнь. Пытаюсь проверить это на себе. Нет, не получается. Мною владеет одна всепоглощающая мысль: черт возьми, умереть теперь, после всего, что я перенес и что не смогло свалить меня! Умереть теперь, когда вот-вот наступит иная жизнь — где все будет лучше, разумнее, где люди будут счастливы и я вновь увижусь с моими близкими, о которых теперь не имею вестей, не знаю даже, живы ли они, и если живы, то где находятся, а они не знают, где я, и никогда не узнают, как я умирал. Вот о чем были мои мысли, действительно подобно вихрю проносившиеся в голове, но по сути совсем не похожие на то, о чем, по мнению просвещенных людей, должен был я в эти мгновения думать… А потом я провалился в какую-то пустоту. Однако спустя некоторое время сознание вновь вернулось ко мне, и тут я прежде всего почувствовал, как что-то липкое ползет у меня по телу и мне трудно, очень трудно дышать — дыхание

короткое, прерывистое, и воздух не наполняет легкие, а со свистом вырывается наружу. Я сразу понимаю, что со мной: прострелено легкое. В том, что это означает, я не вполне отдаю себе отчет, однако мне кажется невероятным, чтобы, стремясь убить человека и стреляя в него в упор с двух шагов, можно не достигнуть своей цели. Выстрел, несомненно, был смертелен. Я умру. Через несколько минут, может быть, даже секунд. И ничего другого мне не остается, как ждать смерти. Странно, что я не испытываю какой-то особенной боли. Оказывается, смерть не так уж страшна. Только в голове очень смутно, да еще противно, что весь я в этой липкой крови. Может, надо попытаться как-то ее остановить? Не стоит. Не стоит хотя бы только потому, что это возродит пустую надежду остаться в живых. Но, может, все-таки… Хотя бы для того, чтобы она не текла так сильно. Поглядеть разве, что там у меня? Я немного приподымаюсь, вот уже сижу; окидываю себя взглядом, но это мало что дает. На мне куртка, ухитряюсь ее сбросить. Ну вот, а теперь и рубашку. Так, она пробита пулей; наверное, и куртка тоже — само собой. Разглядываю свой живот — он весь в крови. Воображаю, на что похожа спина. Я скручиваю рубашку жгутом и обвязываюсь ей как лентой — через правое плечо и левую подмышку. Надеюсь, эта повязка прикрыла дырку, кровь теперь не так сильно сочится. Это я неплохо сделал, хотя и не для того, конечно, чтобы остаться в живых. Нет? А почему, собственно? Где это сказано, что если какой-то нацистский подонок решил меня убить, то его выстрел должен быть непременно смертелен? Нигде этого не сказано. Пока ты еще жив, не делай своему убийце такого одолжения, не записывайся раньше времени в покойники. Ты меня прости, если на сей раз я выскажусь несколько назидательно и высокопарно: ты принципиально не имеешь права ставить на себе крест, пока в тебе теплится хоть искорка жизни. Ты хочешь быть коммунистом, а коммунист никогда не сдается, никогда!

Ладно, я все понял. Я переваливаюсь на бок, острые камешки щебня впиваются мне в тело. Пробую встать. Не так-то это легко, и получается не сразу, но все-таки встаю. Вот уже стою на обеих ногах, пошатываюсь, но стою. Оглядываюсь кругом: холодный блеск рельсов в лунном сиянии; по одну сторону полотна — изгородь, по другую — лес. Куда податься? Пробую двинуться в сторону изгороди. Против всякого ожидания, удается сделать несколько шагов. Становлюсь увереннее. Теперь уже это даже похоже на ходьбу. Ну, дойду до изгороди, а дальше что? Сам не знаю. Можно бы и пролезть. По ту сторону — дорога, а за дорогой — кирпичная стена. В рост человека, и что за ней — не видать. Стало быть, можно налево, а можно и направо. Но за этой стеной,

может быть, дом стоит, и там мне окажут помощь. Скажу этим людям, что убежал от немцев, и этого будет достаточно, они помогут. Надо перебраться через стену! Куда тебе! Слишком высоко, а ты и по ровной-то земле еле ноги волочишь. Но я должен перелезть. Ты просто спятил, бредишь, у тебя лихорадка! Шатаясь, плетусь вдоль изгороди. Ага, ворота! Но они заперты — можешь дергать сколько влезет, все без толку. А решетка с поперечными прутьями на что? По ним можно перелезть. Никуда тебе не перелезть, брось ты это. Врешь, не брошу! Коммунист никогда не сдается.

Как же это я перебрался? Парк. Аллея. Лужайка. И здание — высокий, похожий на замок загородный дом. Света ни в одном окне. Понятно: люди спят. В центре фасада — подъезд, двустворчатая дверь. Странно, она открыта. Входи, кто хочет! Большая прихожая. В ней пусто или почти пусто: стоит кушетка, какие-то два ящика неизвестно зачем. «Эй! Эй! Есть здесь кто-нибудь? Помогите!» Среди пустых стен гулким эхом прокатывается мой крик. Как чуждо звучит мой голос. «Эй!» Никакого отклика.

Позднее в прихожей на каменных плитах пола обнаружили большое коричневое пятно — высохшую лужу крови… Должно быть, я долго пролежал там без сознания. Дом был необитаем — но только последние два дня. А до этого в течение ряда лет — с тех пор, как его реквизировали немцы — в нем была расквартирована воинская часть, которая несла караульную службу у расположенных поблизости железнодорожных сооружений. В последнее время — в конце мая, в начале июня — налеты бомбардировщиков на эти сооружения, особенно на мост через Сену, резко участились, и теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что это было связано с ожидавшейся тогда со дня на день высадкой союзников в Нормандии. В поисках людей я случайно, вслепую забрел прямо в логово зверя, пустовавшее лишь потому, что караульный отряд был переведен в более безопасное место. Я, разумеется, об этом и не подозревал, когда очнулся после своего вторичного обморока. Безмолвие и пустота этого дома, — что было великой моей удачей, — породили во мне лишь разочарование и ожесточение. Ожесточение и упрямство. Ну и пусть! Пока я еще держусь на ногах, не позволю себе пасть духом! Пока могу двигаться, буду искать путь к спасению, хотя и не знаю, существует ли он и где его искать. Пошатываясь, выбираюсь из дома, тащусь по дорожке, ведущей в парк. Не я иду — идет автомат. Сломанный, разваливающийся на части автомат идет неизвестно куда. Дорожка вьется вниз по склону, поворачивает, и моим глазам открывается тихая, чуть

поблескивающая водная гладь. Я стою на берегу реки. Дальше идти некуда, кончен мой земной путь. Все. И теперь наконец покой. Я сделал, что мог, а смог я даже больше, чем можно было ожидать. Чего еще от меня требовать? Ах, покой! А что это за река? Откуда мне знать? Постой, попробуй-ка представить себе карту. Таких широких рек не очень-то много в той местности, куда должен был добраться наш поезд примерно за сутки. Да уж не Сена ли это? Она же течет к Парижу с юго-востока. Река, что передо мной, широкая. Однако не такая широкая, как Рейн в тех местах, где я родился, а ведь когда-то я славился тем, что мог его переплыть. Уж не воображаешь ли ты, что и сейчас тебе под силу переплыть на тот берег? Нет, конечно, куда мне в таком состоянии! А впрочем, чем я рискую? Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей, приобретут же они весь мир. Ты ведь знаешь, откуда эти слова. На том берегу, далеко, далеко мерцает свет. Если бы мне туда добраться, может, я и приобрел бы весь мир. Ну, и разыгралась у меня фантазия! Смотри, лодка! Вон же, вон лодка! Гребная лодка! Правая рука у меня, правда, крепко побаливает, но левой я, пожалуй, смог бы еще грести. Попытка не пытка. Эх, черт возьми, цепь! Лодка на цепи! Не состоялась прогулочка при луне в гондоле. Ну так переберусь вплавь. Неужто не справлюсь с этой тихой, спокойной рекой? Это ж было б курам на смех! Стой, не спеши, сними хотя бы ботинки, легче будет плыть. Так, готово. А часы на руке, они что — влагонепроницаемы? Нет? Видишь, обо всем надо подумать. Сними их — и в задний карман брюк, все сохраннее будут. А теперь — в воду! Что, холодно? Да, не сказать, чтоб тепло. Ну, работай ногами. Ложись на правый бок, а левой рукой делай свободные, спокойные, широкие гребки. Ну что, идет как будто неплохо. Течение не сильное. Впрочем, правду сказать, немножко меня все же относит, и тот огонек, к которому я стремлюсь, все дальше и дальше ускользает в сторону. Но так или иначе, вперед я продвигаюсь. И если мои чувства меня не обманывают, то мне как будто и дышится легче. А вот свободные, спокойные, широкие гребки что-то не очень у тебя, друг мой, получаются. Радуйся тому, что хоть кое-как, а гребешь. Нет, долго я так не протяну. Силы мало. По правде-то говоря, я уже совсем выбился из сил. Не могу я больше, не могу, и все. Сколько еще до берега? Никогда мне до него не доплыть. Может, повернуть обратно? А как далеко я отплыл? Нет, назад тоже не ближе. Как же теперь? Э, да не все ли равно! Чему быть, того не миновать — так пусть это произойдет здесь. Что от пули окочуриться, что утонуть — не все ли равно! Не могу больше, конец, иду на дно. Так вот оно — последнее мгновение. Прощай моя молодая жизнь!

— Да, — говорит доктор, — бывает такое. Воля к жизни. Именно это часто и решает все — выживет человек или погибнет. Известны случаи, когда воля к жизни делала прямо-таки чудеса — вселяла в тяжелораненых такие моральные и физические силы, что этому трудно поверить. Так оно, очевидно, было и с вами. И даже в то, последнее, мгновение. А что до вашей безумной идеи переплыть Сену, то ничего благоразумнее, целесообразнее вы, пожалуй, и сделать не могли. Все ведь очень просто. Холодная вода прежде всего способствовала свертыванию крови, она, так сказать, закупорила пулевые отверстия и приостановила кровотечение. Иначе, можете мне поверить, вы очень скоро истекли бы кровью.

Так вот кто мой спаситель — холодная вода! О Большой Шарль, маленькая душонка, слышишь ли ты это? А ведь ты в свое время возлагал на холодную воду совсем иные надежды. Вот уж, поистине, ирония судьбы! А выражаясь более научно, диалектика жизни! Да, жизни, а не смерти. Ты хотел сделать воду моим врагом, а она стала моим другом. Она была в большом долгу передо мной, и ей надлежало возместить причиненное мне зло. Ведь в свое время, на службе у Большого Шарля, она сыграла со мной злую шутку. Кто бы мог подумать, что она сумеет с таким блеском вернуть себе свое доброе имя. О Большой Шарль, маленькая душонка! Даже твои орудия пытки уже оборачиваются против тебя, недолго тебе осталось командовать.

Но пока он еще командует. И сейчас слышу, как громыхнул засов, как вставляется ключ в скважину и дверь камеры отворяется. Здание, где я находился, прежде было, должно быть, жилым домом или конторским помещением. В нем не то семь, не то восемь этажей, но выше шестого я не поднимался. Гренобльское гестапо перестроило его все сверху донизу и приспособило для своих нужд. Тюрьма занимает два этажа. Понастроили перегородок, обили железом двери, понаставили решеток, создали переходы — получилась тюрьма как тюрьма. Одного ей недостает — двора. Здесь на прогулку не выводят. Я просидел в тюрьме свыше двух недель и выходил из камеры только в душевую. Постоянным местом моего тюремного пребывания, откуда я спускался только на допросы, был шестой этаж. Это достаточно высоко, чтобы ощущать, как потряхивало здание, когда английские летчики сбрасывали где-то поблизости бомбы. Порой мы слышали даже рев их моторов. По большей части, они пролетали дальше, по слухам — на север Италии. В этих случаях люди там, на воле, за стенами тюрьмы облегченно вздыхали — и каких не понять. Но сам я испытывал разочарование. Я мечтал о воздушном налете, который превратил

бы это здание в кучу развалин и всех наших наци, всех до единого, похоронил бы под обломками, а мы, те несколько десятков заключенных, целыми и невредимыми вырвались бы тем временем на волю. День за днем лежу, бывало, на своих нарах, лежу и сжимаю кулаки. Что они намерены со мной сделать? Только в самые первые дни заключения меня вызывали на допросы. Допрашивал каждый раз кто-то другой, вопросы каждый раз были одни и те же. Впрочем, особенно тогда на меня не наседали. Большого Шарля, который принимал меня здесь после того, как я был доставлен в гестапо, и вручил мне свою визитную карточку, я в первые дни больше не видел. Те, что пришли ему на смену, не испытывали, по-видимому, особого желания лезть из кожи вон, расследуя дело, которое все равно перейдет в руки другого. Даже награждая меня оплеухами, они делали это просто по заведенному, так сказать, шаблону. Как-то раз один из них приказал мне лечь животом на стул и принялся бить меня палкой по заду, но и это опять-таки делалось по заведенному шаблону, и только. Не скажу, чтоб мне не было больно, но, конечно, это была не та боль, какая ассоциируется со словом «пытка». Я, понятно, испытывал унижение, и оно жгло душу, но вместе с тем было как-то странно — неужели этим все и ограничится? А потом обо мне, казалось, забыли, и это было хуже допросов с пристрастием. Вскоре по характеру доносившегося до меня шума я научился определять, что́ происходит в недрах тюрьмы. Ежедневно, не исключая воскресных дней, то одних, то других заключенных выводили из камер — кого на допрос, кого на работы, кого для пересылки. Только к моей двери не подходил никто. Наконец наступил день, когда и меня вывели из камеры, но, к моему удивлению, лишь для того, чтобы впихнуть в общую и без того битком набитую камеру. А несколько дней спустя, без всякой видимой причины, меня вновь изолировали. В другой раз в мою камеру поместили какого-то заключенного, только что доставленного в тюрьму после ареста, и у него был такой растерзанный вид, что мне нетрудно было себе представить, как, должно быть, выглядел я сам в первый день моего заключения. Но в тот же вечер я опять остался в камере один. Во всем этом нельзя было усмотреть никакого плана, здесь явно не преследовались какие-либо цели — одиночное заключение назначали или снимали лишь в зависимости от наличия там или тут свободных мест; когда же у гестаповцев до какого-то незаконченного дела не доходили руки, подследственного попросту оставляли до поры до времени томиться в камере.

Но вот, кажется, обо мне вспомнили. Ну и хорошо, очень хорошо. Хочу знать, что со мной будет дальше. Ничего нет

ужаснее, чем ждать всяких ужасов. Если эти проволочки не просто халатность и импровизация, если Большой Шарль обращается так со мной умышленно, чтобы меня вымотать, то он рассчитал неплохо. Я исстрадался от ожидания. Жду того, что должно наступить, чуть ли не с нетерпением. Ну, увидим. Кто это пришел за мной? До сих пор приходили солдаты старших возрастов, — вся караульная команда состоит из них; они не из самых худших — орут на нас, строго требуют соблюдения дисциплины, но я ни разу еще не видел, чтобы они кого-нибудь били, и если мы в неположенное время стучим в двери, просимся в уборную, они бранятся, но отпирают. На этот раз позади старого солдата стоит молодой в штатском.

— Этот? — спрашивает он. Он задает вопрос по-немецки, но с французским акцентом, тут уж я не ошибусь. Ага «гангстер». Гестаповцам, как я уже упоминал, не хватает людей, и они пользуются услугами вспомогательного отряда из местных фашистов. Каждому, кто в довоенные годы видел американские гангстерские фильмы, хорошо знакомы эти типы: лакированное скотство, принаряженная грубость, кабацкая элегантность. Все они из уголовного мира, и про них идет слава, что они хуже немецких гестаповцев, которые тоже презрительно называют их гангстерами. Господа офицеры из гестапо не питают никаких эстетических и, уж конечно, никаких моральных предубеждений против гангстеров, — они просто не любят утруждать себя и на грязной работе используют этих подонков в качестве палачей.

Мой гангстер хватает меня за руки. Щелк — захлопнулись наручники.

— Пошли! — говорит он. Коридор, проход с решетками, железная дверь, ведущая на лестничную клетку. Комната допроса на втором этаже. Мой гангстер, как видно, ленив, хочет спуститься на лифте, нажимает кнопку. Но потом ему надоедает ждать. Он толкает меня к лестнице. Пятый этаж, четвертый этаж. А, вот почему лифт не пришел! У открытой двери шахты лифта стоит Большой Шарль с двумя своими коллегами. Они болтают. Большой Шарль, по-видимому, в хорошем настроении. Увидав меня, он иронически кивает мне.

— Ну, как дела? Сегодня мы с вами побеседуем. Извините, но пока что вам придется подождать. Я скоро приду. — Он отводит моего гангстера в сторону, о чем-то с ним шепчется. Тот кивает.

Третий этаж. Я намереваюсь спуститься ниже, на второй, как при прежних допросах, но тут мой гангстер заступает мне дорогу и толкает меня к входной двери этажа. На сей раз это обычная деревянная дверь. Гангстер нажимает кнопку электрического звонка. Дверь со скрипом автоматически отворяется. Мы входим.

Обыкновенная квартира средней руки с каким-то трудноуловимым налетом караульной, с запахом непроветренных постелей, сапог, винного перегара. С десяток таких же гангстеров, как мой, играют в карты, курят сигареты. Я почти забыл вкус сигарет. Один из тех, кто меня уже раз допрашивал, протягивает мне пачку, но когда я хочу взять сигарету, прячет пачку в карман.

— Я благотворительностью не занимаюсь. Выложишь все, тогда другое дело.

Еще трое из этих типов неторопливо, вразвалку направляются к нам. Так это и есть тот малый, который воображает, будто выйдет отсюда не расколовшись? Ничего, он еще одумается. Не с такими справлялись. А этот и пяти минут не выдержит. Раздевайся, живо! Ах да, сними-ка с него наручники. Ну, давай, стаскивай свои шмотки. Живее! Ах ты, свинья, как ты смел в такой загаженной рубашке сюда являться! Да он же не мужчина, у него почти нет волос на груди. Зато кое-где, где тоже положено быть волосам, они у него в избытке, ха-ха-ха! И все прочее на месте — пока что, а какой это будет иметь вид потом — никому неизвестно, ха-ха-ха!

Эх вы, жалкие остряки, хоть бы что-нибудь новенькое придумали! Это все уже было в ваших эсэсовских подвалах. Я же вижу вас насквозь. Хотите меня запугать, раздавить морально. Посмотрим. Я не был готов к тому, что меня заставят раздеться догола. Гнусный приемчик, ничего не скажешь. Чувствуешь себя таким беззащитным, сломленным, отданным им во власть. Ну вот, принялись бить. И при этом изображают возмущение, будто это я их провоцирую. Как ты на меня смотришь, грязная скотина, ты что, рехнулся? Этого еще не хватало, он, кажется, воображает, что мы позволим ему тут распоясываться. Ну, выкладывай, где твой передатчик? Мы ведь уже знаем — где, но хотим услышать это еще раз — от тебя. Ты понятия не имеешь ни о каком передатчике? Да ведь ты же радист! Ты радист, нам это точно известно. Где ты живешь? Говори адрес — да не тот, что написан в твоих бумажках, а где ты живешь на самом деле. Передатчик спрятан там? Вот твой блокнот. Что это означает: в семнадцать тридцать Дютиейль? Кто этот Дютиейль? Твой связной? Ах, твой оптик! Чинил тебе очки? Рассказывай это своей бабушке! Где же они, твои очки? Их у тебя отобрали? Значит, ты утверждаешь, что здесь воруют очки? Осторожнее, приятель, ты затрагиваешь нашу честь. Ты же вообще очков не носишь, вот ведь что. А это чучело на фото — это один из твоих? Где он? Если он не из твоих, почему его фото у тебя в бумажнике? Твой племянник? Ты нас идиотами считаешь — преподносишь нам все эти дурацкие басни.

Как долго это уже длится? Вопросы, вопросы, на которые

явно никто всерьез не ждет ответа — цель которых раздергать нервы, а вперемежку с вопросами со всех сторон сыплются удары — кулаками, ремнем, резиновой дубинкой. Пинки ногами по голеням. Все же и теперь боль не так уж нестерпима. Но я замечаю нарастающее оцепенение. Рефлексы притупились, я начинаю бормотать. Надо взять себя в руки, нельзя терять над собой контроля. И вдруг, как по сигналу, избиение прекращается. Они стоят вокруг меня.

— Он метит в герои, — говорит кто-то.

Другой добавляет:

— Ну, пусть покажет, как он силен.

Меня проталкивают в какую-то дверь. Ванная комната. Обычная, нормальная ванная комната, довольно просторная. Ванна стоит посередине и наполнена водой. Я вхожу, шатаясь, опираюсь о раковину, они отрывают от нее мои руки. Щелк — опять наручники. Зачем четверо надевают наручники на одного, да к тому же еще голого?

— Садись!

Куда я должен сесть? Удар валит меня на пол, на холодные каменные плиты. Двое уже завладели моими ногами и на них тоже надели кандалы. Двое других отработанным движением, которое настолько неожиданно, что застает меня врасплох и не дает даже возникнуть мысли о сопротивлении, заставляют скорчиться. Что они хотят делать? Мои прижатые к животу колени они просовывают между моими скованными в запястьях стальными кольцами наручников руками. Затем под коленями, поверх рук, пропихивают палку, обыкновенную палку от метлы. Теперь я не могу даже пошевельнуться. Я — связанный ком голого тела, подвешенный на палке. Те двое берутся за концы палки, поднимают ее вверх и с размаху швыряют меня в ванну. Меня охватывает ужас: ванна наполнена до краев ледяной водой. Я погружен в воду почти целиком, только лицо едва-едва выступает из воды, но для этого я должен изо всех сил вытягивать шею и напрягать ступни. Концы палки лежат на краях ванны. До чего же холодна вода!

Все четверо довольны. Гладко прошло, ничего не может быть лучше хорошо сработавшейся команды. Они стоят вокруг ванны — двое по бокам, двое в ногах. Так-то, приятель, теперь мы приступаем к делу. Тебе знакомо это славное, нехитрое изобретение? Нет? А ведь как будто о нем поговаривали. Ну, смотри, эта штука работает совсем просто. Один из гангстеров слегка нажимает пальцем на мой лоб. Положение равновесия, которое после недолгого покачивания заняло мое скованное, связанное, висящее на палке под водой тело, позволяло мне

только дышать и видеть. Теперь это легкое нажатие на лоб заставляет маятник качнуться, — лишь чуть-чуть, — но этого достаточно, чтобы моя голова и лицо ушли под воду. Я уже не могу дышать, и я весь целиком в ледяной воде. А этот ледяной холод хуже невозможности дышать. О нет, холод ужасен, но без воздуха тоже нельзя… Еще несколько секунд — и я утопленник! Мое тело хочет распрямиться, но кандалы не дают, и все сводится к резким, бессильным подергиваниям. Я уступаю непреодолимому позыву глотнуть воздуха, мой рот против воли открывается, и вода проникает в меня. Булькая, захлебываясь, кашляя, я выныриваю из воды. Надо мной скалится чье-то лицо. Ну что, хватит? Недурное изобретение, немецкий патент. Никакой пачкотни, сберегает силы, экономит время, запросто применимо во всяком современном домашнем хозяйстве. Ванна как средство развязать язык, сделать разговорчивее. Работает с гарантией, даже в самых трудных случаях. Нужно только с каждым разом подольше удерживать клиента под водой, пока он не заговорит. Сказать по секрету, у этого метода есть своя тонкость. Он требует большой чувствительности в кончиках пальцев, эта работа не для неповоротливых. Нужно точно знать, сколько может выдержать клиент. Проглотит лишнюю чашечку водицы и даст дуба, а изобретение-то преследует другую цель. Однако такие случаи бывали. Я тебе советую не очень-то на себя полагаться, не думай, что ты все выдержишь. Долго ли переборщить, тогда считай, что ты уже на том свете. Тебе-то, может, и все равно, а нам нагоняй. Так что, без глупостей, будь благоразумен. Самое лучшее — начинай-ка прямо сейчас все выкладывать. Твой передатчик уже у нас, не будем на этом задерживаться. Расскажи нам о местах для приземления. О каких местах для приземления? О местах для приземления парашютистов, приятель. И для сбрасывания оружия. Это же твое специальное задание, ты не можешь этого оспаривать — цифры в твоем блокноте тебя изобличают. Говори код! Окуни-ка его разок, чтоб он поточнее припомнил. Или, может, ты сразу скажешь?

Накрыло ледяной водой. Вокруг журчанье. Во мне бульканье. Нет, не думаю, чтобы это всерьез — они же только начали. На вопросы я отвечать не буду: им, сукиным детям, долго придется ждать, даже если они захотят узнать самые безобидные вещи. Цифры в крайнем случае я мог бы объяснить; мне, собственно, не следовало их записывать. Это — время отправления автобусов и пересадок. Но тогда они спросят, почему я так много разъезжаю, зачем и куда именно. Нет, только не начинать говорить, не дать им ни к чему прицепиться, ведь не знаешь, где влипнешь. Пусть уж лучше меня прикончат. Ведь если я хоть что-нибудь скажу,

если им покажется, будто они что-то из меня вытянули, хотя бы даже самое безобидное, тут уж они не отвяжутся. И тогда-то они меня, несомненно, утопят. Сволочи! И ведь они даже не немцы — это французские нацисты. Уголовники, сутенеры, одно слово — гангстеры. Проклятье, не могу больше выдержать! Задыхаюсь! Воздуху!

Ах, воздух! Снова могу дышать. Но этот холод. И опять надо мной эти рожи. Код, код! Давай код! «Крокодил ноги помыл» — ты же знаешь передачу лондонского радио, его позывные специально для вас четыре раза подряд, правильно? Признавайся! Где место для сбрасывания контейнеров? Где спрятано оружие? Понятия не имею, о чем они толкуют. Ничего я этого не знаю. Они задают вопросы наугад. Пробуют все подряд, не клюнет ли, а там будет видно, — может, что и выйдет. Не попадусь я в вашу ловушку. Я сам вам ловушку поставлю. Я еще мальчишкой практиковался в нырянии. Есть один прием. Не просто сделать глубокий вдох и погружаться, а не меньше полминуты перед этим дышать особым способом: глубокий и медленный выдох, глубокий и медленный вдох. Тогда в крови создается запас кислорода, и можно продержаться дольше. В то время, как мои гангстеры думают, что я силюсь отдышаться, я медленно и глубоко вдыхаю и выдыхаю. Когда меня слова окунают, я замечаю, что достиг успеха. Но запас воздуха должен сослужить службу мне, а не им. Я не жду, пока мне действительно станет невмоготу — заранее начинаю вздрагивать и дергаться, показывая, что больше не выдержу, что они должны дать мне вынырнуть. Мой расчет правилен: на этот раз, когда давление на лоб прекращается, силы мои на самом деле еще не истощены до конца. Говнюки! Я вас все-таки провел. Если б только не этот холод! Чувствую, что коченею.

За спинами моих четырех мучителей возникает лицо пятого. Большой Шарль! Ну, как обстоит дело, продвинулись вы с ним? Нет, шеф. Это свинья задубелая. Прирожденный мученик, прямо ведет к тому, чтобы ускользнуть от нас на тот свет. Может, он того и хочет. Если позволите, шеф, я бы предложил долго с ним не возиться, прикончить, и все тут. Тем более, что уже время обедать. Да? Вы так полагаете? Ну что ж, у вас на то есть опыт. Если вы уверены, что из него ничего не вытянуть, то я согласен. В самом деле, не валандаться же с каждым из них целую вечность.

Ну, на эту удочку вы меня не поймаете. Так я и поверил, что вы прикончите меня, если я буду молчать. Это вы просто разыгрываете передо мной маленький спектакль — такой же небось, как и перед другими. Кроме того, у меня есть мой козырь. В тот момент, когда вы решите, что я сейчас окочурюсь, тут я и

пущу его в ход. Нет, не верю, что вы задумали меня сегодня утопить. Холод, собственно, куда мучительнее. Он меня доконает. Хорошо еще, что вы, как видно, совсем этого не понимаете. Как, Большой Шарль уже ушел? Тогда они сейчас опять возьмутся за меня. Это еще что такое? Почему он вытаскивает затычку и спускает воду? Неужто сеанс окончен? Ах, если бы он действительно окончился, тогда я выдержал испытание. Со свистом и хлюпаньем спускное отверстие всасывает остатки воды. Но тот, что вытащил пробку, снова вставляет ее и открывает кран. Это зачем? Широко разинутая металлическая пасть извергает толстую струю воды, ванна опять быстро наполняется. Свиньи, свиньи, свиньи! Спущенная вода казалась мне такой холодной, я совсем в ней окоченел, ну а уж эта, эта!.. Невыносимо, просто невыносимо! Тот, у крана, ухмыляется. Да, приятель, тебе не положено согреваться. Если вода становится слишком теплой, мы ее спускаем — вот как заботливо мы обслуживаем наших клиентов: самой свежей, холодной водой из водопровода. Ты нам за это благодарен? Ну, так прояви же свою благодарность, мы бы хотели услышать что-нибудь о тех, с кем ты держишь связь. С кем ты работал? Где у вас явки? Или просто скажи, с кем ты встречался, с кем дружишь? Назови несколько имен. Два имени, одно!

Что может быть холоднее льда? Эта вода холоднее. Я уже давно дрожу всем телом, а теперь у меня начали в самом буквальном смысле стучать зубы, стучать дико и неукротимо; челюсти — взбесившиеся кастаньеты. Если бы я сейчас даже и захотел заговорить, все равно не смог бы. И в этом мое спасение, так как я начинаю терять контроль над своими мыслями. Гангстер слева от меня хватает посудину — алюминиевую миску. Набирает полную миску воды и выливает ее мне на голову. В первый раз — это добавочное холодное обливание, достаточно неприятное. Во второй раз — укол в мозг. В третий и во все последующие — удары молотка, от которых гудит и разламывается череп. Сволочи, как они додумались до такой пытки! Они еще и до многого другого додумались. Один из гангстеров берет палку — не увесистую дубинку, нет, так, пустяк, не тяжелее дирижерской палочки, и начинает равномерно и не очень сильно похлопывать ею по моим подошвам. И это хуже всего. Переохлажденное тело стало таким чувствительным, что я ощущаю эти легкие удары так, словно мне вгоняют в пятки гвозди. Безумная боль, возникающая в ногах, соединяется где-то внутри меня с болью, возникающей в голове, создавая адскую систему впивающихся в меня кинжалов и раскаленных, рвущих тело на куски щипцов. Я проваливаюсь в пустоту.

Может ли человек, проваливающийся в пустоту, делать плавательные движения? О, человек может многое. И я могу больше, чем подозревал. Я возвращаюсь в сумеречное состояние полузабытья. Вокруг меня вода. Но это вода широкой реки, сверкающая в лунном свете, и мне не холодно, мне жарко. Разве я не пошел ко дну на середине реки? Теперь берег, к которому я стремился, совсем близко. Просто не верится, но он достижим. Никто никогда не объяснит мне, каким образом я до него добрался. Еще несколько слабых взмахов руки, и я подплываю к столбам рыбацкой верши, немного вдающейся в реку. Подтягиваюсь на руках вдоль верши к берегу. Ищу глазами огонек — суливший мне надежду огонек. Взбираюсь по откосу, пересекаю луга, перехожу вброд ручей и все время держу курс на огонек. Я действую с решительностью сомнамбулы. Шоссе. Нигде ни души. Но огонек теперь совсем близко. Железнодорожная насыпь. Надо еще и на нее вскарабкаться — за ней я найду дом, в котором светится огонек. Взбираюсь наверх и застываю в каменной неподвижности: огонек светится не в доме — свет льется со столба на краю железнодорожного полотна. Много таких столбов выстроилось в ряд на равном расстоянии один от другого вдоль полотна, но фонари на них не горят; только на одном столбе и светится огонек — тот, который меня завлек. Я сказал, что, увидав его, я окаменел. Это не то — я умирал; в который уже раз за эту ночь я умирал и в который раз ускользающая от меня жизнь возвращалась ко мне! Вот и теперь затеплилась новая надежда: с высоты насыпи вдали за полем и пустошью виднеются дома, однотипные дома поселка, симметрично расставленные вдоль улицы. Далеко ли до них? Слишком далеко. Никогда мне до них не добраться. И все-таки, все-таки, человек может многое, и я добираюсь туда. Поселок безмолвствует, но не по-ночному безмолвствует, как всякий спящий поселок, нет, он молчит, как молчат мертвецы. Его не разбудить ни криками, ни дерганьем за ручки звонков, ни стуком в двери. Окна — как глаза слепых. Эти дома пусты. Все село безлюдно. Позднее я узнаю: село эвакуировано из-за бомбежек. Эвакуированы поголовно все, за исключением одной-единственной семьи, задержавшейся случайно. И она тоже на следующий день оставит свой дом, стоящий на самой окраине. К этому дому, в котором его обитатели проводят последние прощальные часы, бредет, шатаясь, прошагав из конца в конец весь поселок, полуголый человек в насквозь промокших штанах, перевязанный через плечо окровавленной, свернутой жгутом рубашкой. Возле дома человек сваливается на невысокую груду чего-то мягкого, а в ушах у него возникает звук надежды: собачий

лай.

— К вам посетитель, — говорит монахиня, появляясь в дверях.

Лицо моего полицейского — моего шестого или седьмого Бухмайра — принимает озабоченное выражение; в его инструкции, наверное, ничего не говорится о посетителях. Но монахиня уже впускает какого-то человека.

— Старина! — говорит человек и протягивает ко мне обе руки. — Я так рад, старина!

Я вижу, что человек говорит это от души, он очень доволен, лицо его сияет. Но кто же он такой?

— Это тот, — говорит монахиня, — кто вас подобрал и доставил сюда.

Мой спаситель. До сих пор в моих мыслях не нашлось для него места. Слишком много всплывало других картин, обрывков жизни, которые нужно было выкапывать из обломков памяти, чтобы с усилием, соединяя одно с другим, восстановить нечто целое. Вот теперь я еще один провал заполняется. Лунная ночь, надо мной склоняется кто-то.

— Что с тобой, старина, откуда ты? — Он пробует посадить меня, это не удается, и он бережно укладывает меня обратно на эту мягкую кучу, потом смотрит на свои руки, Возле моего лица что-то живое, влажное, возбужденно повизгивающее.

— Тихо, Ада, пошли!

Удаляющиеся шаги. Неужели он оставит меня погибать. Может быть, его отпугнула кровь у него на руках?

— Не мог же ты, старина, в самом деле так думать. Человека не оставляют погибать без помощи. Ты к тому же еще что-то шептал — совсем тихо, еле внятно, но я кое-что разобрал: транспорт заключенных, кто-то спрыгнул с поезда, кого-то застрелили при попытке к бегству. Я железнодорожник, знаю, какие грузы проходят иной раз по Лионской линии. Один я тебя перенести не мог, оттащили в дом вдвоем с женой. Остаток ночи мы просидели на диване; на нашей кровати лежал ты. Жене пришлось потом порядком повозиться, чтобы вывести пятна крови. Ты бредил, хорошо, что никто из нацистов не слышал. Мы мало что могли сделать, только обмотали тебя простыней. Нужен был врач. Но ведь ночь на дворе, а до шести утра выходить запрещено. В последнее время они стреляют, даже не окликнув. Без пяти минут шесть я выехал в город на велосипеде. Тут всего несколько километров, но дорога вся в колдобинах. У первой двери с дощечкой врача я звоню, бью в набат. Врач выслушивает мою просьбу и отказывается. Не могу, не имею права, не поеду. Я-де обязан вызвать «скорую помощь», доставить раненого в

больницу. К половине восьмого санитарная машина у наших дверей. Дорогой, когда мы трясемся по ухабистому проселку, ты начинаешь стонать, сквозь простыню проступает свежая кровь, санитар пожимает плечами. Само по себе ранение, говорит он, не такое уж тяжелое, бывает хуже, но очень большая потеря крови — вот что скверно. Ну, здесь, в больнице, все было в порядке, тут худого слова не скажешь. Как только тебя перенесли из машины, врач сделал тебе несколько уколов, и занялся раной. Потом присоединили вот эту штуку, — говорят, там соль. Все сошло гладко. Откуда ты и как это случилось, расспрашивать не стали. Только надежды у них было мало. А ты все-таки выкарабкался. Очень я этому рад, старина!

Спасибо, дружище, спасибо, спаситель мой. Но разве тебе удалось меня спасти? Я ведь опять у них в руках. Вон сидит полицейский — мой, который уже по счету, Бухмайр. Он, как и тот, первый, готов стрелять. Кстати, где он? Вышел. Должно быть, не хочет мешать. Нет, вернулся, распахнул дверь. У него совершенно другое лицо, он сияет, чуть не пляшет от радости, а за ним толпятся еще люди — монахиня, доктор, пациенты в пижамах, с повязками на голове или на руке, и все они тоже сияют и что-то говорят наперебой. Что с ними, что случилось? Чего им надо?

— Они здесь! — кричит мой полицейский, и он теперь совсем не Бухмайр. — Они высадились! Сегодня утром высадились в Нормандии, на севере по всему берегу, через Ла-Манш! Они высадились. Конец бошам! Их уже выгнали из России, теперь выгонят из Франции! Мы свободны, и ты свободен, друг!

Это было 6 июня 1944 года. Наконец-то они высадились! Пройдет еще почти год, прежде чем ликующий возглас моего полицейского смогут подхватить все оставшиеся в живых. Для миллионов освобождение придет слишком поздно. В тот день я тоже еще не был на свободе, и все же в тот день свобода пришла и ко мне. Свобода — это движение, стремление, действие, дерзание. Так вырвись на волю!

Перевод А. Студенецкого.

Вольфганг Йохо
СВОБОДА ПРИШЛА НЕ СРАЗУ…

Когда пронеслась весть о заключении мира, ударили в колокола. В разрушенных городах и сожженных селах все, кто выжил, плача, обнимались, освобожденные наконец от смертей, голода и страха…

Так было, как сказано у летописцев, без малого триста лет тому назад, когда кончилась тридцать лет длившаяся война, которая опустошила Германию и стоила ей девяти десятых ее населения. 8 мая 1945 года на Родосе — Острове Роз — колокола не звонили и не лились слезы умиления. Весть о мире застала меня, одного из тысяч солдат так называемого караульного батальона 999, вот уже много месяцев прозябавших там в ожидании своего конца, питаясь главным образом кореньями, варевом из одуванчиков и скудными ломтями хлеба, в основном из отрубей, в бараке, где кроме меня жили еще четверо.

Вебер, Дилленберг и Брем, как всегда, резались в скат, Янцен сидел в углу, зажав кулаками уши и весь уйдя в книгу; я лежал на своей койке и дремал. Вдруг за дверью кто-то, пробегая мимо, крикнул: «Капитуляция!» Игравшие в карты вскинули головы.

— Что там? Капитуляция?

— Давно пора!

— Восемнадцать, двадцать, я пасс…

И хлопанье картами по столу возобновилось.

Я вскочил, взглянул в угол, где сидел Янцен. Там его не было, раскрытая книга лежала на табуретке. Янцен тихо вышел из барака. С дрожью в коленях я несколько секунд постоял возле любителей ската. Погруженные в свои карты, они не замечали меня, я хотел что-то сказать, но передумал и вышел на улицу.

Стояла теплая и ясная ночь, мерцали звезды, стрекотали цикады, а вдали монотонно билось о скалистые берега вечное море. Все было как всегда, и все — совсем другое! Пришел конец тупому прозябанию на грани голодной смерти, лживым обещаниям начальства о великом переломе в войне с помощью чудодейственного оружия и окончательной победе. Конец нацистам! С этого часа никто больше ни дома, ни вне его не умрет от пули или бомбы! Свобода, за которую мы слишком слабо боролись, о которой грезили за тюремными стенами и на отрезанном от мира острове, она словно нежданный дар с небес ниспослана нам…

Я стоял и смотрел на сияющие звезды и ничего не

предпринимал из того, что рисовалось в мечтах об этом желанном мгновении. Я не напился, чего, впрочем, при всем желании и не мог бы сделать: никто из ожесточившихся местных жителей, жаждущих своего освобождения, ни за какие деньги не продал бы немцу и стакана вина или рюмочки узо. Я не проглотил сразу весь свой «неприкосновенный запас» по той простой причине, что, вопреки строжайшему запрету, он давно был съеден. Не сорвал с себя так называемые знаки различия, ибо, так же как Янцен и сотни других товарищей, давно это сделал, на что начальство смотрело сквозь пальцы. Даже распиравший меня крик радости — и тот застрял в глотке. Почему — в эту минуту я не мог бы ответить.

Ответил Янцен. Некоторое время он издали незаметно следил за мной и наконец подошел. Я всегда восхищался и завидовал его быстрому уму, его умению точно формулировать свои мысли.

— Добились, значит, — сказал он, по своему обыкновению, сдержанно, холодновато, словно бы с легкой иронией, — но добились не мы… — И на одном дыхании, будто желая предварить возможное возражение, продолжал: — Не будем говорить о том, что мы когда-то сделали или намерены были сделать, надо говорить о том, чего мы не сделали вчера, сегодня, за пять минут до того, как опустился занавес! Пытались мы хоть что-нибудь предпринять, когда наших солдат, полумертвых от голода, отправляли в лазарет, где многие из них умирали от полного истощения? Или отшвырнул кто-нибудь из нас винтовку и крикнул: «Все! Отвоевался!» — когда по приговору военного суда расстреляли двух итальянцев за то, что они украли кочан капусты?!

Он гневно посмотрел на меня, — куда девалась его сдержанность, он казнил себя, меня, нас всех. Он не ждал ответа, да и что мог я ему сказать? Я только опустил голову, я понял, почему из груди моей не вырвался ликующий крик, почему я не почувствовал полного счастья в этот исторический день, день 8 мая.

На шоссе послышались шаги — смена караула. Обе караульные пары протрусили мимо; ложи карабинов 98-К били их по ляжкам, на портупеях позвякивали противогазные сумки, шашки, патронташи — все эти потерявшие всякий смысл в день капитуляции атрибуты. Заведенная машина крутилась по инерции… Мы смотрели вслед растворившимся в темноте фигурам. И опять Янцен выразил вслух то, что было у меня на языке:

— Эту победу нам только теперь предстоит завоевать.

Нелегко это будет…

Мы незаметно вернулись в барак. Вебер, Дилленберг и Брем, так и не поднявшись из-за стола, по-прежнему играли в скат. Как каждый вечер.

На следующий день… Но нужно ли рассказывать о нем? Не могу ли я с чистой совестью поставить здесь точку? Ведь я, ни о чем не умалчивая и ничего не прибавляя, уже ответил на вопрос, при каких обстоятельствах встретил весть о мире и что почувствовал в первые минуты. Да, я мог бы поставить точку, если бы свобода в самом деле пришла сразу, как бы нежданно свалилась с неба. Но в том-то и дело, что она пришла не сразу, что ее нужно было, как сказал в тот вечер Янцен, еще завоевывать, завоевывать, идя от рубежа к рубежу, преодолевая сотни препятствий в умах и сердцах людей. А потому придется рассказать и о втором дне, и о многих, последовавших за ним.

На второй день у бараков стояли индийские посты, и командирам наших выстроившихся частей было объявлено без дальнейших разъяснений, что отныне мы должны рассматривать себя военнопленными английской армии. В тот же день произошло нечто невероятное, что мы, месяцами голодавшие, сочли скверным анекдотом: казначей отдал приказ фуражирам открыть продовольственные склады и раздать все запасы, так как с этого дня нас берут на довольствие англичане. И то, что поначалу мы восприняли как скверный анекдот, оказалось на деле нелепейшим сумасбродством и безумием: из раскрытых кладовых вылетали тысячи картонок с ржаными лепешками, мясными консервами, колбасой, жирами, сыром, мешки с сахаром, даже с шоколадом и конфетами. Каждый получал столько, сколько мог унести. Все эти запасы в сказочном изобилии тайно хранились, припрятанные на некий туманный день «Икс», день окончательного, победоносного сражения, который, мол, к несчастью, так и не наступил. Творились непередаваемые, для многих из нас, отвыкших от еды, смертельные жратвенные оргии. Так что день освобождения был все же отмечен, но весьма своеобразно.

В тот день, да и в последующие произошло еще немало такого, что может показаться чудовищным. Многие из тех, кто уже ранее сорвал со своих кителей знаки различия, лихорадочно шуровали на свалках, выуживая оттуда орлы, нашивки и звезды и нацепляя их снова на свои мундиры. Кто-то — и не без успеха — распустил слух, будто всех, у кого не будет знаков различия, англичане объявят бунтовщиками и заключат в тюрьму, расположенную на ближайшем острове Зими. А незадолго до

того, как нас погрузили на судно для отправки в Египет, где на краю пустыни нас ждал лагерь для военнопленных, была разыграна в такой же мере смехотворная, как и весьма характерная, комедия: наш генерал, восточно-эгейский комендант в отставке, пожелал проститься со «своей» воинской частью с соблюдением подобающей торжественной церемонии, на что получил разрешение англичан, этих вчерашних достойных противников и, быть может, завтрашних союзников. Часть вышла, как на поверку, и стала строем. Не хватало только надраенного до блеска оружия, но в этом состоял единственный изъян. В остальном был полный набор: трескучий командирский голос генерала, приглашавшего всех, у кого появится в том потребность, по возвращении на родину посетить его в дорогой ему Силезии; и слезы умиления на глазах тех славных землячков, которые радовались, глядя на эмблемные орлы, опять украшавшие их мундиры. Поражение казалось уже чем-то вроде несчастного случая на производстве, передышкой перед новыми героическими деяниями…

Во время переезда в Порт-Саид эта жуткая игра на краю смерти продолжалась. Те, кто предусмотрительно не забыл спасти, кроме своей голой жизни, воинские билеты и солдатские книжки, печати и штемпельные подушки, нашивки, звезды, иголки и нитки, производили друг друга в унтер-офицеры, фельдфебели, обер-фельдфебели, лейтенанты и капитаны, с занесением в солдатские книжки задним числом, лишь бы не нарушить прусский порядок. Только ли игрой это было? А может, мудрым расчетом на жирное жалованье завтра и на чины и звания в блистательно воскресшей германской армии послезавтрашнего дня?

Но до тех времен, разумеется, было еще довольно далеко. В палаточных лагерях у самого края египетской пустыни они, питаясь белым хлебом и мясными консервами, уже и помнить не желали, как всего каких-нибудь три-четыре недели назад старались убедить нас, что англичане якобы не в состоянии прокормить даже собственную армию. Эти твердолобые настолько оправились от удара, нанесенного капитуляцией, так глубоко похоронили свою ненависть к «плутократам», так основательно перестроились на волну реальной обстановки, что уже на новый лад трубили о грядущем «золотом будущем». Скоро, бахвалились они, их с почетом и внушительными окладами пошлют в качестве вспомогательных английских войск в Индию, Персидский залив, Палестину и Южную Африку, где они, дескать, могут быть весьма и весьма полезны. Как-никак, а ведь немецкого солдата с его превосходной выучкой сбросить со счетов-то нельзя!

Когда англичане попытались наконец, — основываясь на столь же огромной, сколь и сомнительной по результатам, анкете и личных впечатлениях, — выделить в стотысячной массе немцев, обитавших на краю пустыни, антифашистов, пассивных нацистов, твердокаменных нацистов, назвав три эти группы соответственно «белые», «серые» и «черные», то оказалось, что вчерашние фанатичные горлопаны и непобедимые стратеги уже успели основательнейшим образом «перекраситься» и полностью «освободиться» от нацистской идеологии. С непринужденным видом и невиннейшей миной они заявляли спрашивающим, что демократия, по их убеждению, — единственная справедливая форма правления, а Гитлер в их глазах всегда был преступником. При этом они, как авгуры, перемигивались, а потом между собой с циничной откровенностью толковали, что за подобные признания англичане наградят их скорейшей репатриацией…

А я, а мы — те, кто годами томились в гитлеровских концлагерях и тюрьмах и кто составлял незначительнейшее меньшинство в этом английском лагере для немецких военнопленных вблизи маленького солено-горького озера? Мы-то с бóльшим правом могли рассчитывать на скорейшее возвращение на родину, где были очень и очень нужны. И мы не удовлетворялись платонической надеждой, а тайно пересылали письма депутатам-лейбористам, внушавшим нам доверие, с требованием освободить нас и проставляли за подписями число лет, проведенных в гитлеровских застенках. Но вестминстерские мельницы мелют медленно, а архиконсервативная штаб-квартира в Каире была ближе и пользовалась бóльшим влиянием, чем лейбористское правительство в Лондоне. И поэтому, когда через полтора года меня, Янцена и других товарищей включили в группу военнопленных, которую отправляли через Англию на родину, «серых» и «черных» в этой группе насчитывалось больше, чем антифашистов… До свободы было, разумеется, еще далеко, однако мы готовились к ней сами и готовили других, старались по мере возможности выполнять роль дрожжей в массе аполитичных, запутавшихся, колеблющихся, деморализованных, ищущих.

К нам в руки попадали французские, английские, немецкие газеты. И хотя коммунистической прессы мы не видели, но мы научились читать между строк и таким образом нащупывать правду. Доходили до нас и книги писателей, о которых двенадцать лет мы ничего не слышали. Чтение таких книг было тоже рубежом, ведущим к свободе. Никогда не забуду минуты, когда я — в прямом и переносном смысле слова — в пустыне прочел «Седьмой крест» Анны Зегерс, изданный в Мехико на

немецком языке, книгу Абунга «Ложный путь одной нации», новые стихи Иоганнеса Бехера… Это были оазисы среди пустыни. Оружие для завоевания свободы. Шагом к ней, поневоле скромным и урезанным, была также лагерная газета: с разрешения и при поддержке англичан я организовал ее издание. Назвал газету иронически «Голос пустыни», ибо, как известно, в пустыне голосов не слышно. Все же я надеялся, что до чьих-нибудь ушей этот голос дойдет. Выступал я не только как издатель, редактор, типограф в одном лице, но и как автор бесчисленных заметок и статей. Без устали писал о свободе, которую нужно завоевать для Германии завтрашнего дня. Офицеру английской разведки не нравились прямота и четкость моих высказываний. И, хотя официально цензуры не существовало, он, например, наложил «вето» на мою статью о необходимости сломать монополию на университетское образование, назвав статью «чересчур коммунистической». Не удивительно, конечно, — он был студентом Оксфордского университета.

Точно так же, как Янцен и другие товарищи, я делал еженедельно обзор печати о событиях в мире, отдаленных от нас тысячами километров, устраивал занятия по гражданскому праву, по истории, восстанавливая по памяти накопленные за два десятилетия знания, приносившие теперь свои плоды. В палатку, рассчитанную на четыреста человек, многие пришли на первое занятие с самодельными школьными ранцами на спине, настроенные иронически, недоверчиво, все время прерывая лекции выкриками с мест, смехом и громкими разговорами. Но раз от разу на занятиях становилось тише, воцарялось внимание, слушатели задавали вопросы уже не провокационного порядка, а продиктованные потребностью побольше узнать. Нарушителей тишины становилась все меньше, да и тех одергивали их же товарищи. Дела мои выглядели уже не так безнадежно, как вначале. Светлый луч свободы словно бы начинал рассеивать туман в задуренных головах. Одна небольшая битва была выиграна, но победа, о которой в памятный день 8 мая говорил Янцен, все еще была далеко, еще много шлака лежало на пути к освобождению…

Через год, когда мы, по-прежнему еще пленные, хотя и были теперь ближе к родине, сидя во вшивых бараках лагеря под Лондоном, услышали по радио многократно повторенный приговор Нюрнбергского Трибунала: «Death by hanging»[2], — нас потрясла реакция окружающих: многие называли приговор позорным и несправедливым, оправдывали приговоренных к смерти, они, мол, только выполняли свой долг… Выходило, что

мы и здесь были лишь небольшой группой, противостоящей большинству. А в Гейльбрунне — Одиссея по пути к свободе еще не завершилась — в американском лагере для освобождаемых наши соотечественники встретили нас с ненавистью, озлобленной бранью, обзывали «патентованными демократами»… То были бывшие эсэсовцы, которым американцы поручили должности начальников лагеря. Не потому, однако, что доверяли им, просто никто из немцев не соглашался на такую работу, кроме тех, кто с полным основанием боялся возвращения к гражданской жизни и кто предпочитал оставаться на американских хлебах, что таким немцам было больше по душе.

Но на этом они не успокоились. В надежде на богатый улов они безапелляционно объявили, что мы якобы по указанию коменданта обязаны сдать им кофе, сигареты и все прочее, привезенное с собой. Янцен, я и все остальные, убежденные, что нас хотят «взять на пушку», кинулись к американскому коменданту, честному антифашисту, какие в ту пору еще были в американской армии. Он подтвердил, что подобного указания никто не давал, и обещал проследить за тем, чтобы у нас ничего не отобрали. Слово свое он сдержал. Коричневые начальники лагеря утопили бы меня и Янцена в выгребной яме, если бы нас повсюду не сопровождали крепкие, сильные товарищи. Но из пятисот военнопленных мы с Янценом покинули лагерь последними. Эту свинью землячки нам все-таки подложили.

И вот в один хмурый ноябрьский день 1946 года я наконец мог сказать себе — я свободен. Правда, мое первое впечатление на свободе нельзя было назвать вдохновляющим: сидя в углу темного, холодного вагона поезда, я стал свидетелем разговора моих попутчиков. Со злобным недоброжелательством ругали они все и вся за то, что бывшим узникам концлагерей выдают улучшенные пайки.

— А ведь в большинстве своем это были настоящие преступники, — сказал один из собеседников.

Никто не возразил ему, а я слишком устал и слишком был угнетен такой встречей с родиной, чтобы вступить в разговор. Да, будет нелегко, как сказал тогда Янцен. Он был прав. Путь к свободе был еще долог…

…Первый час свободы? Быть может, он пробил, когда меня после трехчасового перехода по заснеженной пограничной земле, ведущей из Западной в Восточную зону, задержал военный патруль, так как у меня не было разрешения на переход в Советскую зону оккупации… Патруль привел меня в местную комендатуру, и я вместо необходимых документов предъявил

фотокопию повестки в суд и бумагу об освобождении из концлагеря, после чего советский комендант назвал меня по-немецки «товарищ» и тотчас отпустил. Быть может, час этот пробил позднее, в Берлине, когда я на улице встретил и заключил в объятия товарища, которого не видел со времен подполья и которого считал погибшим или пропавшим без вести. А может, он пробил в тот день, когда вышла в свет моя первая книга. Не знаю, не знаю… Вероятно, много было таких первых часов на пути к освобождению, которое мы сами должны были завершить, а 8 мая 1945 года было, правда, его непременным условием, но в то же время только первым его рубежом.

Перевод И. Горкиной.

Отто Готше
ПЕРВЫЙ ЧАС

Далеко на горизонте ночное небо бороздили всполохи. Тяжелая зенитная батарея в низовьях Гейзеля вела редкий заградительный огонь. Двухсотмиллиметровые зенитки, расположенные поодиночке, молчали. Расчеты круговой зенитной обороны, уже много лет назад оборудованной для защиты крупных химических комбинатов на Заале и Гейзеле, в панике оставляли позиции. Линия фронта фашистского вермахта, обращенная на запад, фактически не существовала; верховное командование перебросило все мало-мальски боеспособные силы на Восточный фронт. Здесь оставалось только находившееся в состоянии полного разброда зенитное отделение, у которого не было ни резервов, ни надежного тыла.

С ревом одолевая холмы, вырвавшиеся вперед танки и самоходки генерала Паттона покрывали ураганным огнем долины, которые раскинулись перед ними, как на макете. Осветительные ракеты озаряли красноватым светом грозное действо. Господствующие над городком Мюхельн высоты, запятые в эту ночь американцами, многослойным полукругом обступали с запада люцкендорфский бензозавод и расположенные по соседству разработки бурого угля и электростанции.

Сидя на чердаке дома, принадлежащего моему другу С. в Лангенэйхштедте, я лишь урывками мог наблюдать через слуховое окно захлебнувшееся наступление американской армии. Мой друг С., активный член боевой антифашистской группы «Центральная Германия», предоставил мне убежище. Мы знали, что в долине Гейзеля у фашистского вермахта нет сколько-нибудь серьезных сил. Если не считать зенитных установок, размещенных вокруг крупных заводов, здесь вообще не было немецких частей. И тем не менее исключительно мощные армии Эйзенхауэра не решались ни предпринять массированную атаку на промышленные районы Галле и Вейсенфельд, ни взять Мерзебург. Они только блокировали переправу через Заале. Дороги, ведущие с запада на восток, были безнадежно забиты. Танки, самоходки, понтоны, обозы и бесчисленные части моторизованной пехоты могли продвигаться вперед лишь шагом.

Положение у меня оказалось не из завидных. Я был попросту захлестнут волной наступления и застрял в районе боевых действий. По решению тройки, возглавлявшей боевую антифашистскую группу «Центральная Германия», я был обязан

после занятия индустриального района Галле войсками союзников незамедлительно прибыть в Эйслебен. Здесь мы хотели попытаться создать организационную базу для политической работы среди населения и при всех обстоятельствах одновременно с этим взять в свои руки ключевые позиции управленческого аппарата. Для этой цели мы разработали четкую программу. Мы хотели, мы должны были оказаться первыми, наш опыт подсказывал нам, что в первые решающие часы все зависит от того, кому принадлежат ключевые позиции. При этом мы исходили из предпосылки, что наш район займет Красная Армия.

И вот пришли американцы.

В захваченных и уже ставших ближним тылом областях они сразу же после закрепления своих позиций начинали охоту за мужчинами, годными, на их взгляд, к военной службе. Административные вопросы, обеспечение населения продовольствием их почти не интересовали. Так было и здесь. Войдя в деревеньку с утра пораньше, части военной полиции перевернули все вверх дном. Большое число жителей Лангенэйхштедта было отправлено в тюрьму. И, однако же, мне надлежало предпринять попытку 13 апреля сорок пятого года попасть в Эйслебен. Хотя ситуация для нас сложилась непредвиденная и хотя я уже не мог посоветоваться с ответственными товарищами из нашей группы, я решился тем не менее действовать, как уговорились раньше.

Тринадцатого апреля была пятница. Фрау Амалия Штибер, соседка моих родителей, которую я помнил с детства, наверняка самым категорическим образом отсоветовала бы мне предпринимать в этот день какие бы то ни было акции, пусть даже самые незначительные. Мало того, что тринадцатое, так еще и пятница!.. Это к добру не приведет. Но я отогнал подобные мысли, хотя в этом древнем как мир суеверии таилась, возможно, крупица истины. В случае неудачи мамаша Штибер непременно заохала бы: я ж говорила, я ж говорила…

Я распрощался с хозяевами дома, пошел задворками и, не замеченный американцами, выбрался из села. Прямиком через поля, через овраги, стороной обходя дороги, забитые колоннами солдат, я достиг Обхаузена. В заброшенном саду за околицей Шледорна я подождал, пока меня догонят два парня в каких-то лохмотьях. Даже на расстоянии было видно, что это солдаты гитлеровского вермахта, которые где-то ухитрились переодеться. Они ехали вдвоем на дребезжащем велосипеде по узкой тропинке между вишнями. Как раз перед оградой, где прятался я, они упали. Завидев меня, они пустились бежать и пожертвовали своим велосипедом. Я их окликнул.

Они пробежали еще немного и лишь тогда сообразили, что с моей стороны им не грозит никакая опасность. Мы обменялись сведениями. Я узнал, что Обхаузен покамест не занят, и, в свою очередь, призвал их к осторожности, если они намерены пересекать шоссе Кверфурт — Шафштедт. Жалко, чтобы два молодых парня, по горло сытые войной, кстати сказать, вовсе им не нужной, угодили в плен к людям, которые столько лет мешкали со вторым фронтом.

Насколько справедливо было мое предупреждение, я мог убедиться два часа спустя. Я исходил из того, что если американцы через Артерн и Кверфурт вырвались к Мерзебургу, значит, они подошли и к Галле через Нордхаузен — Зангерхаузен — Эйслебен. Но я ошибался. Маленькое вспомогательное шоссе Альштедт — Гросостерхаузен — Рэблинген было забито. Здесь в два ряда стояли впритирку танки, орудия, всевозможные машины, они-то и преградили мне на развилке возле Ротенширмбаха дорогу Кверфурт — Эйслебен.

Меня схватили, затолкали в джип и отвезли в деревню. Здесь у меня вывернули все карманы, после чего отправили к другим пленным, которые стояли возле какого-то амбара, лицом к стене, сложив руки на затылке.

С севера доносились взрывы. Поначалу я думал, что это бомбардировщики, которые должны поддержать захлебнувшееся наступление, но затем понял, что воздух, то ослабевая, то усиливаясь, сотрясают взрывы артиллерийских снарядов. Я судорожно обдумывал возможность побега. Следили за нами не очень строго. Два или три немолодых фольксштурмовца, — они были схвачены здесь, в деревне, без оружия, солдат-зенитчик лет шестнадцати — он, судя по всему, проблуждал много дней и теперь от слабости едва держался на ногах, его качало из стороны в сторону, — апатичные и безучастные, стояли лицом к стене. Кончилось военное время, должно быть, думали они, началось послевоенное…

Тогда я еще не понимал, что несмолкающие залпы орудий имеют непосредственное отношение к моей родной деревне, которая лежит как раз перед Эйслебеном.

Одно событие почти комического толка отвлекло мое внимание. В нем проявилась основная черта немецкого характера: порядок есть порядок, все должно идти своим чередом. Даже и в тот час, а правильнее сказать, минуту, когда чужеземные войска занимают твою страну, твою деревню.

Возчик, ежедневно собиравший у крестьян бидоны с молоком и отвозивший их на молочный завод, прибыл и сегодня на паре лошадей по боковой дороге со стороны Ротенширмбаха.

Свято соблюдая заведенный порядок, он собрал бидоны со всех хуторов. Криками «хеллоу» американцы его остановили и с молодецким хохотом разгрузили повозку. Потом они отцепили от грузовика полевую кухню и начали варить какао.

И даже сегодня, спустя четверть века, то, что случилось потом, причиняет мне такую же — нет, еще более острую — боль. Я до сих пор вижу перед собой долговязого, краснолицего и рыжеволосого американца, осторожно держащего за край банку горячего — прямо с огня — какао на молоке. Он подходит к молоденькому зенитчику, что стоит рядом со мной, и предлагает ему выпить какао. Мальчик запуган, он боится, за последние дни он не видел ничего хорошего, он колеблется, вопросительно глядит на меня, потом обращает взгляд к американцу, и лицо его трогает жалостная гримаса, намек на улыбку. А у американца глаза поблескивают, как у коршуна. Он торопит, понукает мальчика, одетого в слишком просторный мундир. Грубым, гортанным голосом громко кричит:

— Hey boy!..[3]

И мальчик берет банку. Но едва он подносит ее к губам и делает первый глоток, как американец из всех сил бьет ладонью по дну банки. Горячее, только с огня, какао выплескивается мальчику в лицо. Он издает звериный вой и хватается руками за лицо. Банка откатывается к моим ногам, мальчик едва не падает, я его поддерживаю. Со злобным, издевательским смехом американец возвращается к приятелям, чтобы должным образом живописать свой героический подвиг. Солдаты безучастно глядят на мальчика. Я снимаю пальто, расстилаю возле стены и укладываю его. Больше я ничего не могу сделать…

А мы все стоим и стоим… Вот она, человечность, изготовленная в США, думается мне. Они, конечно, припоздали, но тем не менее пришли и теперь освобождают нас… Только как же она будет выглядеть, эта свобода, которую они нам принесли?

Иллюзий на сей счет у меня не было.

Когда начало смеркаться, я решил бежать из этого плена. Сделав вид, будто мне надо справить естественную надобность, я зашел за цепь танков, стоявших вдоль дороги. Танковые экипажи сидели на гусеницах, кто курил, кто дремал, мной они, во всяком случае, не интересовались. Я упал в придорожную канаву и несколько сот метров полз по колкой стерне и сухой крапиве. По левую руку от меня раскинулись небольшие садовые участки. Я перевалился через первый забор и долго лежал там. Стемнело. Пригнувшись, я добежал до второго забора, потом до третьего, до четвертого и так далее. Когда сады остались позади, я выпрямился во весь рост и припустил трусцой. Лес принял меня в

свои объятья и укрыл от чужих глаз. Утром следующего дня я добрался до своей деревни. Она была разрушена.

Нетрудно понять, что все события, происшедшие до этого момента, я отношу к тем последним часам издыхающего преступного режима, когда он, уже корчась в злобных содроганиях, громоздил одно злодеяние на другое, прежде чем началась его предсмертная агония.

В эту субботу я не много успел сделать. Товарищи из деревни собрались у меня. Мы назначили бургомистра-антифашиста и взяли на себя управление общиной. Было очень любопытно наблюдать, как между двумя фронтами двигающихся с запада и с востока союзных армий скопились, всякие подонки; они метались здесь, как крысы в сундуке, с единственной мыслью уцелеть. Вольфероде тоже кишело такими темными личностями. А предпринять мы ничего не могли, комендантский час с шести вечера до шести утра приковывал нас к дому. Многочисленный гарнизон, увеличивающийся за счет все новых частей и обозов, затруднял и делал невозможными какие бы то ни было действия с нашей стороны. Американцы превратили деревенские улицы в свою мастерскую и одновременно в ночной притон. Здесь шел ремонт танков и грузовиков, здесь бесчинствовали солдаты. Сразу после наступления темноты стали известны первые случаи изнасилования в районе Гартенштрассе. Несколько женщин были самым гнусным образом изнасилованы целыми подразделениями.

Лишь в воскресенье я смог добраться до Эйслебена. Мои друзья успели до вступления американских войск занять ратушу. Старые власти бесславно, бесшумно ушли в отставку. Обер-бургомистр, шеф полиции, крейслейтер, комиссар гестапо, а с ним заодно их подручные второй руки, многочисленные соратники по партии, чиновники, осведомители и тому подобные деятели куда-то исчезли. Можно было только удивляться, с какой легкостью наша добрая мать-земля предоставляла убежище всем, кого она во имя высшей справедливости должна была поглотить. Наши товарищи при содействии советских граждан и поляков, угнанных в рабство, а также военнопленных, с которыми они давно вели совместную нелегальную работу, обезоружили фольксштурм и отправили по домам последний гитлеровский призыв, Противотанковые ежи были разобраны. Новый обер-бургомистр — антифашист, наш товарищ Б., один, без всякого сопровождения, отправился к коменданту города. Он бесстрашно потребовал у полковника Зегера, чтобы тот отдал приказ немедленно прекратить всякое сопротивление американским частям, которые находятся на подступах к городу.

Полковник лишь растерянно помотал головой. Он не считал

для себя возможным предпринимать какие бы то ни было шаги, не получив приказа свыше. И потому, вопреки здравому смыслу, предоставил событиям идти своим чередом, однако не дерзнул применить какие-либо санкции к нетерпеливому посетителю. Последовавший затем разговор обнажил всю пустоту кодекса чести, принятого среди офицеров гитлеровского вермахта и определявшего поведение и тактику национальной военщины.

— Неужели вы хотите, чтобы в последние минуты войны тысячелетний город Эйслебен обратился в развалины?

Обер-бургомистр беспомощно молчит.

— Неужели вы действительно намерены в последний час взять на себя такую вину?

Пожимает плечами.

— Неужели у вас нет ни малейшего чувства чести по отношению к своему народу, к своей стране? Неужели вы готовы взять на себя такую ответственность?

Неразборчивый лепет.

За окнами усиливается орудийный гром. Дело происходило именно в тот час, когда американские солдаты в Ротенширмбахе автоматами загоняли меня в свой джип.

— У вас осталась только одна возможность, господин полковник. Распустите свою инвалидную команду. Отправьте людей по домам, им место в лазарете, а не на войне. Жители города будут вам только благодарны. Но в противном случае…

Товарищ Б. возвысил голос. Полковник застонал.

— Я не могу… Моя офицерская честь… Моя присяга… Вот если бы я получил приказ…

На что посетитель резко сказал:

— Я, я приказываю вам, полковник Зегер, немедля приостановить военные действия. Отправьте ваших солдат по домам. Хватит! Пусть сложат оружие!

Десять минут спустя последние солдаты полковника Зегера сложили оружие и, не оглядываясь, разбежались кто куда. Первые же патрули вступивших американцев были приняты товарищем Б. в здании ратуши. Они немало удивились, встретив уже исправно функционирующее антифашистское управление. Прибывший несколько позднее американский офицер выяснил причины такого явления. Возражать он не стал, он сам был антифашист. Множество фронтовых солдат и офицеров, которые первыми вошли в Германию, хотели только одного — покончить с нацизмом.

Лишь когда за ними пришли вторые, интендантство и прочие службы, стали яснее истинные цели американской армии.

Мой друг, обер-бургомистр Б., встретил меня упреками.

— Где ты пропадаешь? — ворчливо спросил он.

И сообщил, что к нам уже назначен комендант, некий обер-лейтенант, по профессии учитель, из Нью-Йорка, человек неглупый, скромный и выдержанный. Обер-лейтенант Снедекер занял кабинет обер-бургомистра. Товарищ Б. обосновался по соседству. Снедекер был явно доволен тем, что эйслебенские антифашисты с первого дня взяли на себя активную заботу о жизни, о порядке, о снабжении и о куче других повседневных мелочей. Сорок тысяч беженцев из Кёльна и Бреславля, из Берлина и Штеттина, голодных, бездомных, неприкаянных, заполонили улицы. Сорок тысяч угнанных в рабство поляков, украинцев, голландцев, французов, итальянцев, военнопленные, узники концлагерей, дезертиры, оборванные, порой босые и полуголые, требуя, грозя, умоляя, захлестывали через край оазис порядка, созданный нашими товарищами…

Нельзя было терять ни минуты. Надо было действовать быстро и без бюрократических проволочек. Нужен был хлеб, свет, вода, одежда, обувь, кров для десятков тысяч.

Мы уже не раз обсуждали, как будем действовать. Теперь оно настало, это время. Менее чем за пятнадцать минут мы пришли к твердому убеждению, что должны немедленно взять на себя все государственные функции, включая и сельские округа.

— Тебе надо стать ландратом!

Это было сказано в мой адрес. Стать ландратом? А что должен делать ландрат? Никто не мог сказать. Да и к чему? По улицам слонялись десятки тысяч людей. Прибавьте к этому сельское население, сто шестьдесят тысяч мансфельдцев. Ландрат каким-то образом участвует в управлении округа и занимается жизнью деревенского и городского населения. Надо так надо. Я достал пишущую машинку и вложил туда лист бумаги. Затем с превеликим трудом, то и дело смачивая правый указательный палец, ибо ему досталась львиная доля работы, я печатал приказ о своем назначении. «Настоящим господин Отто Готше назначается ландратом обоих мансфельдских округов. Приказ вступает в силу с момента издания». Б. заглядывал мне через плечо. Я до сих пор не забыл его беззвучный, но высокомерный смешок. Впрочем, нет, не смешок, а злорадную ухмылку, во всяком случае, именно как ухмылка она сохранилась у меня в памяти. Друзья так не смеются. И я рассвирепел…

— Ну, старина, вот это документик! Сила! — сказал он. — Ты наш козырный туз, ты прирожденный чиновник государственного аппарата. Взять хотя бы эту изысканную формулировку…

Я поглядел на руки товарища Б., движения которых подчеркивали глубину его восторга. Ну да! Товарищ Б. по

профессии мельник. Мешок, вмещающий центнер муки, — не легкая ноша. Правой рукой надо схватить мешок за узел, а с помощью левой закинуть его на плечо и донести до подводы. У товарища Б. руки были вполне пригодны для этого дела, большие, загорелые руки, которые в случае надобности могли заменить и лопату.

Но пишущая машинка? С ней ему было гораздо трудней совладать. Его указательный палец нажимал на две клавиши разом. А такой машинки, где каждая клавиша была бы величиной с ладонь, попросту не существует. И потому его неколлегиальное поведение не должно было меня оскорбить. Пусть так, но тем не менее я злобно выдернул лист, и в руках у меня осталась узкая полоска, сантиметров в восемь шириной. Три отпечатанные мною строки выглядели на этой полоске как-то несолидно.

Со стыда я хотел было скомкать полоску, но товарищ Б. этому воспротивился.

— Сейчас добудем подпись коменданта, — сказал он и принял важный вид.

Потом важный вид сменился выражением суровой решимости. Мы вышли в коридор. Часовой перестал жевать и кончиком языка прилепил свою жвачку к верхней губе. На нас он даже не поглядел. Мы его не занимали. К коменданту мы вошли без доклада. Обер-лейтенант Снедекер стоял у окна. Наморщив лоб, он выслушал нас.

Переводчица переводила быстро и, пожалуй, точно. Задав мне несколько вопросов, комендант подошел к письменному столу, повертел мою полоску и так и этак, недоверчиво перечитал ее и поставил свою подпись: «Снедекер. Обер-лейтенант». Я стал ландратом. Дело было в воскресенье 15 апреля сорок пятого года.

Конечно, приказ о моем назначении выглядел не бог весть как. Но свою роль он сыграл. Если память мне не изменяет, я так ни разу его и не предъявил.

Мы были еще у коменданта, когда в коридоре послышался шум, часовой распахнул дверь ударом приклада, и трое солдат из военной полиции втащили в комнату человека. Это они разыскали нацистского обер-бургомистра. Звали того Гейнрихс. Он, должно быть, надел свой лучший костюм. Обливаясь потом, он достал из роскошной папки увесистую связку ключей и открыл несгораемый шкаф, — разумеется, повинуясь приказу.

Несгораемый шкаф! Раз в жизни я уже видел такой, только очень давно. Как слесарный подмастерье я работал однажды в филиале сберегательной кассы — чинил водопровод. У них там стоял здоровенный шкаф. А в Эйслебене, городе Лютера, обер-бургомистру принадлежал самый настоящий сейф…

Мы приготовились увидеть что-то очень важное. По нашим представлениям, в сейфе должны были храниться секретные документы, некоторым образом государственные тайны и тому подобное. Бывший обер-бургомистр вел себя как перетрухнувший пудель. Когда он открыл тяжелую бронированную дверцу, мы увидели коробочки с таблетками, бутылочки с лекарствами, баночки с мазями. Сейф не содержал ничего, кроме личной аптечки бывшего государственного деятеля. Обер-лейтенант Снедекер подавил улыбку. Полицейские злорадно ухмыльнулись. Часовой сунул в рот новую порцию жвачки. Самые глупые лица, наверное, были у меня и у Б. Не так, не так мы представляли себе передачу дел.

Оглядываясь сегодня на прожитые дни, я могу сказать, что интермеццо с сейфом уступает по своей нелепости лишь той сцене, которая разыгралась в следующий понедельник, когда меня в качестве нового ландрата принимали в окружном управлении на эйслебенской Линденштрассе. Должно быть, повсюду очень скоро разошелся слух об утверждении моей кандидатуры военными властями. Тупая верноподданническая косность, услужливость «вечно находящегося при исполнении служебных обязанностей» нацистского чиновника проявилась здесь в полной мере. Почти до последнего дня бойко функционировавший ландрат-нацист вознамерился передать мне дела. Во дворе перед входом в главное здание он полукругом выстроил «свиту» — всех своих чиновников, почти до последней минуты носивших коричневую с золотом форму, чтобы торжественно встретить меня. Он даже пытался обменяться церемонным рукопожатием. Одним словом, думал передать мне дела чин по чину.

Меня прямо всего передернуло. Люди неуютно чувствовали себя в гражданском платье, я угадывал их страх. Пожилой чиновник, — позднее я узнал, что это вахтер, — единственный, у кого хватило духу, провел меня в мой кабинет. Там я просидел добрых пятнадцать минут, размышляя, с чего начать. Мы знали, что надо делать, мы знали, что должно быть сделано, мы не знали только — как. Но этому мы очень быстро выучились.

Перевод С. Фридлянд.

Анна Зегерс
КАМЫШИНКА

Небольшая усадебка на берегу озера под Берлином еще с довоенных времен принадлежала семейству Эмрих.

Занимались они главным образом огородничеством. Домик у них был одноэтажный, добротный, и от озера его отделяла узенькая лужайка, единственная полоска неиспользованной земли. Пологий берег незаметно понижался к озеру и весь зарос камышом. Посыпанная гравием дорожка вела от мостков к остекленной веранде, которую пристроили к дому в дни, когда семейству Эмрих жилось нехудо. Обычно все пользовались той дорожкой, что вела к дому от шоссе через огороды. Из маленькой прихожей можно было попасть в комнату и на кухню, а из кухни был лаз в погреб. Дверью, что вела в погреб со стороны озера, давно не пользовались; она была завалена всяческой рухлядью, а подвальное оконце было тоже так заставлено, что почти не пропускало света.

В былые времена Эмрихам принадлежал в ближней деревне небольшой трактир и размещавшаяся против него кузница. В ней подковывали коней и чинили плуги.

Перед самой войной старика Эмриха лягнула лошадь, и, поболев недолго, он умер. Недаром говорят: «Пришла беда — отворяй ворота». Верно, рассеян он был против обыкновения, вконец расстроенный неожиданной смертью жены…

Обоих сыновей забрали в армию. Война затянула срок службы неизвестно до каких пор. Один участвовал во вторжении в Польшу, другой в высадке десанта в Нарвике.

Тем временем дальняя родня перекупила у них трактир и кузницу. Хозяйкой в усадьбе осталась Марта, единственная дочь Эмрихов. Управляться со всей работой самой было для нее делом чести. Лишь изредка нанимала она себе в помощь поденщика, если приходилось, к примеру, дом покрасить, чтобы к приезду братьев в отпуск все было в порядке. И не только с огородом управлялась Марта, сама и обои клеила, и лодку смолила — ту, что большей частью без дела стояла у мостков. Посмотришь с озера на домик — любо-дорого, чистенький, приветливый, весь в зарослях шиповника.

Поднималась Марта с первым лучом солнца и трудилась не покладая рук до позднего вечера. И не только потому, что бережлива была и в долги залезать не хотела, раз уж и без того семья лишилась доходов от трактира и от кузницы, и не только

потому, что думала, будто для того, мол, и на свет родилась, а еще и потому, что хотела забыть про свое одиночество.

Троюродный брат Марты, живший в соседней деревне и считавшийся ее женихом, погиб на линии Мажино, где вообще-то не так уж много народу полегло. Если бы они поженились, отошли бы, наверно, трактир с кузницей снова к Эмрихам. Помолвки они, правда, не справляли, но, когда пришла похоронная, стало Марте совсем одиноко и тоскливо. И раньше-то была она неразговорчива, а теперь и вовсе стала молчальницей.

Была она здоровая, крепкая и привыкла во всех случаях жизни обходиться без посторонней помощи. На третий год войны ей исполнилось двадцать шесть лет. Она была широка в кости, лицо — круглое и плоское. О том, что творится на свете, узнавала из солдатских писем своих братьев да из речей бургомистра и приезжих чиновников. В честь каждой победы она, как и соседи, вывешивала флаг.

Младший брат Марты погиб на Восточном фронте. И хоть любила она его больше, чем старшего за его доброту, но переживала эту утрату не так сильно, как смерть жениха. Ей казалось, будто его на неопределенный срок просто лишили отпуска.

Как-то ранней осенью 1943 года в один из пасмурных вечеров Марта была в погребе и перебирала картошку и брюкву на корм скотине.

Вдруг она услыхала какой-то непривычный тихий шорох — сперва в камышах, потом в кустах шиповника. Ей показалось, что мелькнула какая-то тень. Молнией пронеслась в голове мысль, что могут подумать, будто дом пустой, ибо света-то нет, только в подвале горит слабенькая лампочка.

— Кто там? — крикнула она.

Никто не отозвался. Тогда Марта через кухонный лаз выбралась из погреба, прошла через меньшую комнату на веранду, а с веранды — во двор.

На узенькой полоске земли между домом и озером стоял незнакомый человек. Был он молод, одет, насколько она могла судить, вроде бы прилично, лица же в сумерках ей не удалось разглядеть.

— Тут живет фрау Шнайдер?

Марта ответила:

— Здесь таких нет. — И добавила: — Да и во всей деревне тоже. — И, оглядев пришельца с ног до головы, спросила: — А вы-то как сюда попали?

— На лодке, — ответил незнакомец.

— Да ну? — удивилась Марта, потому что, несмотря на

сумерки, видела, что возле мостков никакой второй лодки вовсе не было.

— Так я уж давно сошел на берег… Я ведь думал, что она, фрау Шнайдер, еще в самой первой деревне, через одну отсюда, живет, у людей спрашивал… И вот куда зашел…

На шоссе затарахтел мотоцикл. Незнакомец схватил Марту за руку и сказал ей тихо, но решительно:

— Не выдавай меня, если кто спросит.

Марта вырвала у него руку и сердито сказала:

— Вон как! Нашкодил, значит.

Мотоцикл не остановился, проехал мимо. Молодой человек опять схватил ее за руку и заговорил тихим голосом, взволнованно и очень настойчиво:

— Ничего я плохого не сделал. Наоборот. — Опять затарахтел мотор, теперь уже на озере. — Да разве похож я на негодяя?

Она опять попыталась разглядеть его лицо. Только разве может лицо служить порукой человеку? Это она знала, — давно ведь уже жила одна, со всякими людьми приходилось сталкиваться. Но ей показалось, что таких лиц, как у этого человека, она еще не встречала.

Моторная лодка уже уехала.

— Чего ж тогда за вами гоняются? Коли вы ничего такого не натворили?

Он опять заговорил очень быстро, не останавливаясь, все так же горячо:

— Там, где я работаю, кто-то листовки против войны подбрасывал… Так вот теперь они на меня подумали…

— Ну, знаете ли, — сказала Марта, — если в этом есть доля правды, вас действительно стоит посадить за решетку.

Но незнакомец все говорил и говорил без передышки, будто и не слышал ее. В его взволнованном голосе звучали мольба и угроза. Может, сама она никого в войну не потеряла, говорил он, может, не ждала никого и не получала похоронной. Марта ответила ему, — и при этом оба прижались к стене дома, — что за такие слова стоит посадить если не в тюрьму, так в сумасшедший дом. Что ж, спросил он, ждать, пока всех мужчин перебьют? Он не ждал, потому-то за ним теперь и гонятся.

— Бессердечная вы, что ли? Дайте мне хоть отдышаться в кустах. Вы и знать ничего не будете.

На какой-то миг она заколебалась.

— Да идите вы в дом, ну, уходите! — сказал он. — Вы меня не видали. Знать обо мне ничего не знаете. Да идите же вы!

Тут Марта повернулась и пошла к дому так, точно и не было

у них перед тем никакого разговора, и принялась за прерванную работу.

Вот так все и началось. Наутро Марта встала раньше обычного, чтобы проверить, сидит ли он еще за кустами, и, пожалуй, надеялась, что он ушел. В то первое утро она уже была готова поверить, что ничего вообще не случилось, никто не приходил. Но он, съежившись, сидел на том же самом месте. Ни слова не говоря, она вернулась в дом и вынесла ему поесть. Увидала, с какой жадностью он накинулся на еду, как поперхнулся, как, закашлявшись, кусал руку, чтобы не услышал никто. Потом поднял на нее глаза. Уже рассвело, и можно было разглядеть его лицо. Он ничего не сказал, только губами пошевелил и поглядел на нее в упор. Она промолчала, ушла в дом, будто никого и не было, и, как всегда, принялась за свои дела.

В это лето ей помогал мальчишка-поденщик, из деревни. Хромой был, после детского паралича. От него-то Марта узнала, что полиция разыскивает какого-то жулика, что во всех деревнях вокруг озера жителей предупредили. К вечеру, — туман раньше обычного заволок землю, — Марта знаками велела незнакомцу следовать за ней в подвал. Она уже запаслась на зиму дровами и углем и сложила все в погребе. Там-то она и приготовила ему закуток, только ничего не сказала. Будто все это не взаправду, будто только слова придадут силу ее действиям.

Парнишка-поденщик огорчился, когда в конце августа оказалось, что на сентябрь Марта его не собирается нанимать. Но никто этому не удивился — все привыкли к тому, что Марта Эмрих сама управляется со всеми делами. И хлебом ее не корми, дай только самой всю работу переделать.

Всякую нешумную работу, — если надо, к примеру, овощи почистить или деревяшку какую-нибудь построгать, а то и починить что-то, — все это стал делать за нее беглец в своем закутке. Звали его Курт Штайнер. Иногда Марта открывала кухонный лаз и включала радио. Со временем она осмелела и стала наведываться к нему в подвал и слушать его объяснения. Стараясь сделать свои рассказы более доходчивыми для нее, он прибегал к различным примерам из истории или из собственной жизни. Марте, которая только и знала, что свою деревенскую жизнь, все это казалось сказкой. Сперва Марта от смущения слышала только его настойчивый голос, потом стала вникать в смысл его слов, начала спорить, задавать вопросы, начала думать.

А однажды ночью, когда все кругом уснуло, скованное снегом и льдом, привела она его наверх, в комнату. На миг увидал он в луче карманного фонаря эту комнату, ее гордость, и постель у нее

оказалась чистой и хорошей.

Вся дрожа, прижавшись к нему, она наблюдала ночами сквозь щели в ставнях за налетом бомбардировщиков на Берлин.

Понемногу Марта сроднилась с мыслями Курта Штайнера. Она уже твердо знала, что поступила правильно и хорошо. Если нужно, она сделала бы это снова, уже по своей воле и с полным разумением.

Мучило ее только чувство вины перед старшим братом Карлом, ибо известие о том, что он попал в плен на Восточном фронте, она приняла с некоторым облегчением. До того Марта все время ломала голову, куда денет Курта Штайнера, если брат приедет в отпуск домой. Ведь такому человеку, как Карл, — черствому, жестокому, прямо-таки зловредному, — доставило бы превеликое удовольствие собственноручно поймать и выдать беглеца.

А весной пришла новая, страшная беда. Разговорившись как-то через забор с одной крестьянкой, Марта узнала от нее, что по деревням вокруг озера пошли обыски, дезертиров ловят.

И в погреб-то они слазят, и сад обрыщут, и кусты обшарят, ничего не пропустят, рассказывала крестьянка со злостью и страхом.

Когда Марта передала этот разговор Курту Штайнеру, тот даже побледнел. Только и сказал:

— Значит, все зря. Теперь крышка. — Помрачнел, задумался и добавил: — Уходить мне надо, а то и тебя еще сцапают.

И тут вдруг Марта вспомнила один случай. Младший брат прочел о нем как-то в пестрой книжечке, а потом рассказал им, старшим. В этом рассказе, — Марта позабыла, где все это происходило, — один человек от кого-то зачем-то прятался и только тем и спасся, что все время, покуда его искали, сидел под водой и дышал через камышинку. Курт Штайнер сказал, что враки все, на самом деле так не получится.

— Увидишь получится, ты попробуй! — ответила Марта.

— Да нет, не может этого быть, так не бывает! — возразил Курт.

А Марта все свое твердила:

— Ведь надо, надо же!

И уговаривала его и уламывала, чтоб он попробовал теперь, сейчас же, пока те не нагрянули, — ведь больше-то ничего не придумаешь, значит, должно получиться. И заставила его проползти через кустарник к озеру, и сама срезала для него подходящую камышинку. А уж к вечеру пришлось заняться этим всерьез — полицейские окружили соседский дом, обшарили все закоулки, ничего не нашли и отправились к Эмрихам. Через

кухонный лаз полезли в погреб. Марта напугалась, когда они наткнулись на закут в дровах, — вдруг волосок или даже просто тень их на след наведет. Но они только со злостью все разворошили, всюду сунулись.

— Кого это вы ищете? — спросила их Марта. Хоть и боялась, а смешно ей стало, глядя на них. — Младший брат у меня погиб на фронте, старший — в плен попал.

— Заткнись! — сказал полицейский. — У баб не одни только братья бывают.

На Марту будто смертным холодом повеяло. «Выдержит ли он там? Хватит ли ему воздуха?» — спрашивала она себя.

Обрыскав понапрасну весь участок, полицейские, злобно ругаясь, пошли к следующему дому. Наконец-то Курт Штайнер смог вернуться в погреб! Ему даже уютно там показалось. Но все время приходилось быть начеку — в любой миг могла нагрянуть новая облава. Курт вовсе пал духом, говорил, что лучше смерть, чем такое мучение. А новой облавы он, мол, не перенесет, попробуй подыши через камышинку.

Марта страстно его уговаривала. Конец войны очень близок, ведь ради него он подвергал себя таким опасностям. Обязательно надо ему дожить до конца войны.

Скоро они узнали, что опять все деревни прочесывают, еще ночью начали.

Марта молила Курта Штайнера решиться еще разок. Ведь сколько раз он жизнью рисковал ради того, чтобы наконец настал мир. Так неужели все это для того, чтоб теперь ни за что ни про что погибнуть, за пять минут до отбоя! И он еще раз поддался на ее уговоры, и опять все сошло гладко, — покуда шел обыск, он дышал через камышинку.

А через две-три недели был взят Берлин. Война кончилась. В доме у Эмрихов оба, и Марта и Курт, то плакали, то смеялись, устроили вдвоем пир в честь такой радости, пили вино, а после легли спать в прохладную белую постель, как настоящие муж и жена, и не пугало их больше тарахтенье моторов.

В окрестности хлынули толпы беженцев, во все дома столько их понабилось, что никто не обратил внимания на Курта Штайнера — он был одним из великого множества пришлых людей. Теперь, когда на сердце у Марты стало спокойнее и прошли все напасти, она ревниво охраняла свои грядки от солдатских сапог и от ребятишек беженцев.

Курт Штайнер улыбался, глядя, как она трудится, как старается сохранить в порядке свое достояние среди всеобщей неразберихи и разрухи. И увидел ее будничную, увидел, как широка она в кости, какое у нее круглое и плоское лицо.

Через неделю он сказал, что ему пора в город, друзей разыскивать.

Марта с головой ушла в работу — так легче было ждать, но он все не возвращался. И вот нежданно-негаданно услыхала она наконец его голос. Он приехал на русской военной машине. Ему удалось разыскать кое-кого из друзей, и он привоз их с собой. Вместе с ним из машины вышли два офицера. Один даже говорил по-немецки и принялся обо всем расспрашивать Марту. Должно быть, Курт Штайнер успел им много порассказать, как он тогда бежал, где скрывался. Вот офицеры и выспрашивали у нее о том, о сем, да так ли оно было, и на все расспросы Марта коротко отвечала им:

— Конечно. Так оно и было.

Офицеры глядели на нее с удивлением, потеплевшими глазами. Потом Курт Штайнер показал закуток в погребе и то место, где он во время облавы прятался с камышинкой во рту. Ничего не утаил, чем был Марте обязан. Она не только ему жизнь спасла, сказал он, а еще все время поддерживала в нем мужество.

Марта слушала молча. Он говорил, будто чужой. А когда она принялась собирать на стол, — запасы-то кое-какие еще сохранились, — Курт Штайнер сказал:

— Что ты! Не надо. Мы сами тебе гостинцев привезли. А нам уже пора.

— Ты тоже уезжаешь? — спросила Марта.

— Конечно. Надо, — ответил Курт Штайнер. — Я теперь в Берлине работаю. Работа у меня хорошая, в новой администрации.

Он погладил ее по голове, как ребенка. Уже уходя, крикнул:

— Скоро дам о себе знать!

Долго прислушивалась Марта к шуму удаляющейся машины. Раньше, бывало, как услышит, что звук мотора стихает вдали, гора с плеч свалится, а теперь наоборот — точно навалилась тяжесть.

Сызмала Марта затаивала от людей свои мысли. Не умела она излить душу. Люди, с которыми сталкивалась по делу, привыкли к ее скрытности. А потому никто и не заметил, что стала Марта еще молчаливее.

Однажды навестил ее Курт Штайнер. Предлагал помочь. Марта ответила ему то же, что говорила всем:

— Да я сама управлюсь.

А когда он вновь горячо заговорил о своей благодарности, она сказала:

— Не надо, Курт.

И не прильнула к нему, когда он на прощание хотел обнять

ее.

Возвратился из плена брат Марты. Он стал еще злее и грубей прежнего. Сестра ни разу от него ласкового слова не услышала, все новшества в хозяйстве его раздражали, ничего он не похвалил, только сказал, что дом достаточно хорош. Достаточно хорош, чтоб привести сюда молодую жену из соседней деревни, тоже из приличной семьи. Пришлось Марте уступить брату и невестке лучшую комнату, а самой перебраться в тесную каморку. Молодые помыкали ею. Брат так и смотрел, как бы изменить по-своему все, что Марта сделала в его отсутствие. Так он и поступил, потому что злился на новые налоги, злился, что никак не добьешься прибыли, — теперь ее стали называть «излишками».

Частенько вспоминались Марте объяснения Курта Штайнера, хоть он давно уж не наведывался. Курт Штайнер сказал как-то:

— Такому сколько ни дай земли, ему все будет мало. И на чужую будет зариться. Таким вот и нужна война.

Раз в воскресенье отдыхала она на лавочке, которую брат соорудил для молодой жены, и глядела на озеро. Брата и невестки дома не было — они уехали навестить ее родителей. Вдруг видит Марта — подходит к мосткам моторка. Из нее выскочил Курт Штайнер и за руку вывел на берег какую-то молоденькую. Марта сразу поняла, что именно такой и представлял себе Курт будущую жену. Он весело поздоровался с Мартой, сказал, что вот захотелось ему по той дорожке пройтись да знакомой своей показать, как он бежал тогда.

— А вот и сама Марта, — закончил он свою речь.

На этот раз он позволил Марте сварить кофе, сам привез настоящего, в зернах. Посидели они так часок-другой.

— Такое, как мы с тобой пережили, — сказал он, взяв ее за руку, — вовек не забудешь.

— Да, уж конечно, — ответила Марта.

— Если нужно что будет, так приезжай к нам, — сказал Курт на прощание и записал ей свой берлинский адрес.

Вернулись родичи Марты, и сразу посыпались на нее упреки. Как это она посмела без них гостей принимать! Потом они учуяли запах кофе. Невестка разворчалась на Марту. Зачем она сервиз трогала из ее приданого! Потом разобрало их любопытство, пристали с расспросами, кто это был у Марты в гостях. Марта ответила:

— Да так, с войны еще знакомые.

А тем временем в деревне учредили какую-то «крестьянскую взаимопомощь». Брат все только ругался:

— А ну их к… Меня к ним нипочем не заманишь!

Марта сказала:

— Да уж таких, конечно!

Вечером села на велосипед и покатила в деревню. В трактире, что принадлежал ее родне, проводились собрания. Она посидела на одном из таких собраний, послушала. Иногда головой качала, если ей что не нравилось.

Брат заявил:

— Повадишься туда шляться, так чтоб ноги твоей здесь не было! Живи где знаешь.

— Не надейся — меня ты не выживешь, — ответила Марта. — Отец нам все поровну завещал. А хочешь — так можешь мою долю деньгами выплатить.

Карл не захотел. Но в душе злился и удивлялся — ишь как заговорила сестрица.

С тех пор с Мартой стали обходиться то так, то этак. То с ехидной любезностью, то шпыняли, как Золушку. Хоть и страшно бывало Марте возвращаться с собрания, все же как сядет на велосипед и поедет на собрание, так и на душе сразу полегчает. Но сердцу этого мало. Жизнь у нее была горькая.

Она истосковалась по Курту Штайнеру. Только бы он приехал, только бы на минуточку увидеть его лицо. Марте казалось, что непохоже оно на все другие лица. Только бы увидеть его снова, эти русые волосы, твердый взгляд. Услышать бы его голос. Ей столько надо спросить у него. Марте казалось, что он все на свете может объяснить. Женат он — а может, и ребеночек уже есть. Еще рассердится, пожалуй, если она так вдруг заявится. Но ведь сам с невестой приезжал и адрес оставил, где они в Берлине живут.

Так как брат Марты в бумагах не разбирался, а Марта, живя в одиночестве, давно привыкла сама со всеми делами управляться, то и выдался подходящий случай: Марта вызвалась съездить в Берлин в Крестьянский банк. Брата это вполне устраивало, а она и виду не подала, как важна ей эта поездка.

Марта все знала — как ехать и куда пойти. Приехала она вовремя и прямо из банка отправилась в Вайсензее, к тому дому, где жил Курт Штайнер. Подымаясь по лестнице, все думала: «Пойти? Не пойти?»

На третьем этаже на двери была какая-то незнакомая фамилия. Напрасно она осмотрела все другие двери. Наконец спросила у какой-то женщины, которая возвращалась домой с покупками:

— Скажите, где живет Курт Штайнер?

— Штайнер? Так он давно уж, как уехал.

— А куда — не скажете?

В ответ женщина только пожала плечами. А так как глаза

Марты по-прежнему испуганно и настойчиво ждали ответа, та насмешливо развела руками.

И Марта пошла на остановку. Устала она. Смутно было на душе. Подумала: «Хоть написал бы, что ли!». И будто к земле придавило ее это горе: ссутулилась, уголки губ опустились. Чем ближе подъезжал автобус к родной деревне, тем больше знакомых лиц различала Марта. Тут она взяла себя в руки, потому что ей показалось, будто все на нее глядят. Услышав, как они говорили друг другу: «Вон та тоже всю войну одна оставалась, совсем одна жила», — Марта подумала: «Попробовал бы к вам Курт Штайнер сунуться, вы б его так выручили, сразу небось в гестапо бы сволокли». Потом пришла горькая мысль: «Ушел он теперь и больше не вернется».

С последней остановки Марта пошла домой пешком. Стоило бы ей немного дать себе воли, как снова накатилась бы тоска. Она показала брату квитанции из банка, а так как он в этих делах ничего не смыслил, то не мог ничего другого сказать, как только:

— Не могла, что ли, пораньше-то вернуться?

И тут вдруг почувствовала Марта, что есть у нее утешение. Есть у нее свое заветное, и никому она об этом не скажет. Ведь то, что есть у нее, — не вещь, а прошлое, пережитое. И там есть чем гордиться. Марта даже плечи расправила.

Рядом с их участком была заброшенная земля. Прежние владельцы то ли погибли в войну, то ли бежали с перепугу. И достался этот участок одному переселенцу по имени Эберхард Кляйн. В пути у него погибла жена. Единственного сынишку он растил один. Человек он был угрюмый и очень беспомощный. Служил, правда, раньше садовником, но имел дело только с хорошей землей и потому никак не мог привыкнуть к тощей приозерной почве, к людям в здешних краях, таким же неподатливым, как эта почва.

Карл Эмрих давно уж зарился на эту землицу, все собирался купить участок, который теперь достался Кляйну. Потому был он с Кляйном неприветлив. А если тот спрашивал совета, так Эмрих отвечал скупо, а то и вовсе врал. Поначалу Кляйн думал, что и Марта — того же поля ягода. От людей он слышал, что и груба-то она и сварлива. Но вот как-то она по собственному почину посоветовала ему, как ставить колышки, чтобы лучше созревали помидоры. Что касалось хозяйства, она иногда и на собрании, хоть и робко, а высказывалась здраво. Эберхард Кляйн слушал и дивился: «Совсем как я думает». Потом заметил, какие у нее добрые и спокойные глаза.

Скоро она стала его женой, а его сыну — доброй матерью. Жили они в согласии и во всем, что касалось окружающего мира,

работы и семьи, держались одного мнения.

Однажды Марте пришла открытка из Дюссельдорфа от Курта Штайнера. Он писал, что никогда ее не забудет. Эберхард Кляйн спросил, кто это ей пишет. Марта сказала:

— Иногда мы помогали друг другу в тяжелое время, в войну. — И прибавила: — Он мне даже настоящего кофе достал.

Кляйн больше ни о чем не спросил, а она ничего больше не сказала.

Если кто, бывало, спросит про Марту — а это случалось редко, — то ему говорили, что это сестра Эмриха, теперь жена Эберхарда Кляйна. Те, кто был заодно с Кляйнами, добавляли иногда:

— Она человек порядочный.

А что еще могли сказать люди, если больше ничего о ней не знали?

Перевод И. Стребловой.

Гюнтер де Бройн
VIKTORIA

В тот ясный, теплый день, которым кончилась война, лучи майского солнца, врываясь в открытое окно, падали на три ручных гранаты, о коих инвалид Йозеф Бауер вспомнил, лишь когда Чешский партизанский комитет, вот уже четыре дня как управлявший городком, через администрацию лазарета предупредил, что во исполнение приказа о сдаче оружия (включая сабли, штыки и кинжалы) будут повсеместно произведены обыски для выявления нарушителей приказа и их расстрела.

Ручные гранаты (к сведению тех счастливцев, которым не пришлось иметь с ними дело), появившиеся уже в XVI веке, вторично изобретенные в русско-японскую войну и нашедшие самое широкое применение во время двух мировых войн, представляют собой снабженные дистанционной трубкой снаряды, начиненные взрывчатым веществом. Сняв предохранитель (или, как выражаются профессионалы, выдернув чеку), ее бросают в детей, женщин и мужчин, которые примерно секунд через пять после броска, пораженные осколками или взрывной волной, умирают или становятся калеками. Различаются два вида гранат: более знакомые немцам, так называемые ручные гранаты, снабженные деревянными ручками, и, похожие на лимоны, без ручек, о которых и повествует приведенный здесь автобиографический эпизод.

Когда снизу, из классной комнаты первого этажа, донесся шум, знаменующий прибытие наряда, Йозеф Бауер, уже две недели как безногий инвалид, внезапно очнувшись от оцепенения, достал из-под кровати свой рюкзак и, выбросив оттуда кальсоны, галстуки и письма, осторожно, дрожащими руками вытащил три стальных предмета и сложил их на постели, попутно объясняя хриплым шепотом мне и двадцати другим обитателям палаты номер семь, как допустил подобную оплошность, которая будет стоить ему жизни, если только я, или Цейтлер, или Шпрингс, или Бартурейт не придем ему на помощь, для чего любому ходячему достаточно, спрятав эти предметы в карман, сложить их на подоконник в коридоре, либо же, сойдя вниз, в туалет для мальчиков, сунуть в раковину, либо — чего уж лучше (только осторожно!) — загрузить в унитаз и спустить воду.

Гранаты, по его словам, предназначались для уничтожения словацкой избы, обитатели коей числились партизанами. Бауер

же, блюдя экономию, обошелся спичками и бензином, а потом очень долго таскал гранаты с собой, пока, наконец, в заварухе отступления и вследствие полученного ранения, начисто о них не позабыл.

— Так помогите же мне! — надрывался он шепотом. — Ведь я безногий!

Что, кстати, было известно всем и каждому, поскольку гноящаяся культя его бедра ежедневно перебинтовывалась, а его ночные стоны часто мешали всей палате спать; обслуживать же его едой, водой для умывания, урыльником и судном приходилось мне, Цейтлеру, Шпрингсу и Бартурейту. Но каждому было также известно, что он всего лишь пять дней назад утверждал, что ни один немец не вправе пережить капитуляцию Германии (которая, кстати сказать, уже состоялась, но нам это еще было неизвестно, поскольку четыре дня назад была проведена конфискация не только оружия, но и радиоприемников).

— Камрады! — молил он. — Даю триста крон!

На банкнотах, коими выплачивалось солдатское жалованье, помимо изображения Градчан, была выведена надпись на немецком и чешском языках: «Протекторат Богемия и Моравия». В дни выдачи жалованья кроны тут же обменивались на сигареты и консервы, которые даже у верящих в окончательную победу котировались как более надежная валюта, хоть ныне и она уже вызывала недоверие. Бартурейт совал консервированные сардины за отопительные батареи, Цейтлер, ослабив бинты, продевал в повязку часы и кольца, я прятал под матрацами пачки сигарет марки «Виктория».

— Пятьсот! — объявил Цейтлер, который еще недавно заверял всех и каждого, что лишь по принуждению служил денщиком. — И только натурой.

— Все, что у меня есть! Но не тяни, ради бога!

В полосатой сине-белой куртке больничной пижамы было два кармана, в штанах же их и вовсе не было. Поэтому третью гранату Цейтлер нес в руке, направляясь к двери, за которой в эту самую минуту о плиточный пол загрохали сапоги, и тогда он попятился, сперва к столу, а потом к своей кровати, в которую и бросился одетый — ни жив ни мертв.

Стол стоял посреди комнаты, кругом, вдоль стен, тянулись впритык кровати. Гранаты лежали на столе, не то серые, не то иссера-синие или черные, во всяком случае, они были темные и блестящие, одни со спусковыми крючками, напоминающими ламповый выключатель, другие с равномерными насечками по всему корпусу, чтобы удобнее держать в руке, — венгерские,

польские, югославские или советские трофеи, как пояснил Бауер с таким видом, словно это оправдывало его забывчивость.

Дверь отворилась. В щель просунулось и тут же исчезло дуло карабина. Дверь захлопнулась.

В коридоре шептались. Там выжидали — пять секунд, десять секунд.

— Портрет фюрера! — ахнул Бартурейт, чей эсэсовский чин на висящей в изголовье именной табличке был совсем недавно переправлен на фельдфебеля.

Шпрингс вскочил на кровать и схватился за раму.

Тут дверь снова отворилась. Два карабинных дула, описав в воздухе полукруг, остановились на Шпрингсе, который, выпустив из рук портрет, покорно направился к столу и, сопровождаемый карабинерами, держа на ладонях гранаты, эти стальные лимоны, вынес их в коридор, на лестничную клетку и школьный двор, где распускались первые соцветия сирени.

После, задним числом, все утверждали, что отчаянно веселились. Цейтлер хвастал, будто пренагло улыбался, когда эти слюнтяи, бряцая краденым оружием, вошли в палату. Бартурейт готов был биться об заклад, что эта золотая рота не способна отличить 8-К[4] от клозетной метелки, на что Бауер ввернул фюрер-де мудро рассудил, сочтя этих людей недостойными носить немецкую форму, хотя сам он удостоил признать, что портрет-то не выбросили, а всего лишь поставили в угол. На каковое замечание Шпрингс высоко поднял портрет и без малейших признаков волнения брякнул его об пол, что я счел чрезвычайно мужественным поступком.

Лично я изрядно перетрусил перед снятым с предохранителя немецким автоматом, чье дуло покачивалось у самого моего носа, пока чех-дозорный обыскивал мою постель. Он был не старше меня, лет семнадцати — восемнадцати, одетый в необычайно тесный костюмчик, в котором, должно быть, еще конфирмовался, костюмчик был перетянут самодельной портупеей, на которой висели по меньшей мере двадцать подсумков; по всему видать, малый не очень-то разбирался в коварных повадках своего оружия, которое, по слухам, стреляет и с неснятым предохранителем. Пальцем правой руки он упирался именно в то место, а левой шарил под матрацем, выгребая сигареты.

— Нету тебе победа, так нету и «Виктория»! — сказал он, глядя на меня с таким видом, словно ждал подтверждения или отрицания своих слов.

Я молчал, как молчал уже полтора месяца. Да вряд ли он и верно понял бы меня, скажи я, что не чувствую себя побежденным, ибо в то время пришел к выводу, что победители в

войне те, кто остается жив, — тоже не бог весть какая радость, если принять во внимание убитых друзей и братьев и живехоньких цейтлеров и бартурейтов.

Двадцать пять лет — немалый срок, и воспоминания той поры — не вполне надежны, почему я и не могу поручиться за каждую приведенную здесь деталь, в частности, за названные имена. Знаю только наверняка, что думалось мне тогда не о жизненных целях и не о свободе, как следовало бы, а о том, что в ту минуту для меня было всего важнее: поскорее избавиться от мозолившего мне глаза автоматного дула, а заодно и сигарет, постепенно исчезавших в карманах конфирмационного костюмчика, — по поводу чего Бауер, который до глубокой ночи этого праздника Победы препирался с Цейтлером из-за пятисот крон, хоть никто из них не потерпел ни малейшего убытка, — отозвался следующим образом:

— Они хорошо понимают, с кем можно себе такое позволить.

Перевод Р. Гальпериной.

Клаус Бойхлер
КАК ТОМАС МАНН ВЫРУЧИЛ МЕНЯ

Отец едет к своему сыну. К солдату. И везет по его просьбе чемодан. Вот он лежит на заднем сиденье вагона. Не слишком велик, но увесист: там книги.

Они тщательно подобраны. И теперь сундучок из фибровой кожи таит в себе целый литературный мирок. Томас и Генрих Манн, Гейне, Кестнер и Тухольский, Ренн, Бехер и Брехт. Завтра день свободной книги, а значит, и день поучительных воспоминаний о том, как в мае тридцать третьего года, в Германии, произведения этих, как и многих других, писателей предавались публичному сожжению.

Итак, сын — солдат национальной Народной Армии. Он попросил, чтобы отец в этот день провел в роте нечто вроде форума. «Надо ж нам знать, как в то время твои сверстники, тоже подрастающее поколение, реагировали на сожжение книг в тридцать третьем году. Ты, как писатель, надо думать, обрисуешь все, как следует».

Отец уже мысленно заготовил свою речь, но он тем не менее изрядно озабочен. Поезд мчит его как раз по местам, где двадцать пять лет назад грохотала решающая битва великого сражения. Отцу тогда было примерно столько же лет, сколько теперь сыну. Однако с годами ему становится все яснее, что сравнивать себя с сыном, с товарищами сына нельзя.

Его ждет юноша, который вырос на книгах, лежащих сейчас в чемодане. Слушать его будет и молодой берлинский рабочий, у которого вечные неприятности с ротным старшиной из-за вещевого шкафчика. Артиллеристы читают Цвейга и Фейхтвангера, Горького и Киша, то есть тех, кто четверть века назад был для отца тайною за семью печатями.

И все же в его жизни был один трагикомический случай, когда решающую роль сыграл как раз один из этих писателей. Именно его взял в поручители девятнадцатилетний юноша. И сотворилось чудо: поддержка писателя стала тем ключом, который отворил врата из царства невежества в царство свободы.

«Торжественная речь им ни к чему, расскажу лучше свою историю, — размышлял отец. — Двадцать пятая годовщина мира — отличный к тому повод. И потом, наша молодежь знает, что сокровище, которое они призваны защищать, отвоевал для них, пройдя сквозь огонь и муки, наш брат, да, те недалекие, серые, одураченные искалеченные душевно парни, какими мы были».

История с поручительством Томаса Манна произошла в последний день памятной войны, ставший и первым днем мира. Только сегодня ее, пожалуй, не понять без некоторой предыстории, охватывающей по времени четвертый год тирании этого крикуна из Браунау, то есть период, проходивший под лозунгом: «Дайте мне четыре года, и вы не узнаете Германию!»

Мы, стоя на пороге юности, правда, не очень-то ретиво старались обрести твердость крупповской стали, проворство борзой, неподатливость сыромятной кожи. Зато мы на славу отсыпались на уроках немецкой литературы. Все равно хрестоматии ничему не учили. Плейер, Кольбенгейер, Гримм — все они именовались бардами нацизма; они воспевали родной край, проповедовали священное назначение народа, лишенного жизненного пространства, и превозносили достоинства германских ремесел.

Но однажды наше тоскливое товарищество оживилось. В связи с тем, что радио неустанно призывало немцев осознать свою миссию господствующей расы, штудиенрат Иозеф, — мы называли его «Зеппхен», — решил наглядно преподать нам внешние признаки оной на наших прилизанных головах. С жгучим интересом следили мы за тем, как Зеппхен измеряет череп нашего первого ученика, и были безгранично удивлены, услышав, что именно «мустанг» являл собой тот нордический тип, о котором писали книги. В тот день началось мое падение, длившееся до скончания эры крикуна из Браунау. Под свист класса Зеппхен измерил и меня: сперва от шеи до макушки, потом от уха до пульсирующей жилки на шее. И покуда глаза мои наполнялись влагой, он возвестил: «Затылок динарский с тенденцией к балканскому; форма смешанная, типично славянская». С тех пор меня переставили в третью шеренгу нашего юношеского взвода.

Изгнанный из господствующего круга арийцев, я заимел уйму времени, которое стал посвящать чтению. И так как вскоре школьной библиотеки стало недоставать, чтобы справиться с нарастающей скукой, я принялся рыскать по всем доступным мне чердакам и сараям. И вот, покамест мои однокашники инсценировали на военных занятиях штурм Вердена, я, вытащив из-за надтреснутого зеркала детский календарь Ауэрбаха в двенадцати комплектах, наслаждался «маленьким арапчонком». В День молодежи я зачитывался «Любовными похождениями Гете в Карлсбаде». До этого «Любовные похождения» подпирали в погребе картофельный ящик.

А потом в куче брошюр «А ты внес свой вклад в дело

экономической независимости Германии?» — я наткнулся на книгу в холщовом переплете. Обложка была в пятнах плесени, страницы в подпалинах. Должно быть, роман бросили для растопки в домовую прачечную. Но он не пролез в топку. И потому оказался в общей куче рядом с «подготовительными мероприятиями» Германа Геринга к «великой войне». Но я отнял его у оборонной промышленности.

«Будденброки». Семейная хроника? В те годы не это увлекало меня. Имя автора — Томас Манн. Я слышал его впервые. В школе мы штудировали «Борьбу за Рим» — эту пропахшую нафталином историю пресловутого Тея. «Прочь с дороги, народы, мы идем, это мы, последние готы!» Вот что было актуально и согревало немецкую душу!

«Будденброки», напротив, были написаны крайне критическим и ироническим пером. Упадок и разложение рода. Ни тебе чуда, ни случайностей; семья шла к гибели с жестокой неумолимостью греческих трагедий. Катастрофа зрела в недрах самой семьи. Не было и в помине тех темных сил, которые, по утверждению крикуна из Браунау, вели Германию по пути невзгод к уничтожению — до его, крикуна из Браунау, появления, разумеется. Странно, очень странно.

Смутное подозрение, что такая книга не ко времени, побудило меня сунуть ее за тисненный золотом фолиант Карла Майя. И хотя впоследствии Зеппхен утешал меня тем, что даже Гете не повезло с безупречно нордическим черепом, я остерегался расспрашивать учителя немецкой литературы о человеке по имени Манн. Позже, — я гостил в ту пору у дяди в Люнебургской пустоши, — позже подтвердилось, сколь обоснованны были мои опасения. Дядя служил в деревне жандармом. В его уборной были спалены старые списки государственных преступников, и каждый вырывал оттуда страницы для интимного употребления. Именно там, в этом тихом чуланчике, я выяснил, кто, согласно предписанию Гитлера, не достоин более немецкого гражданства. «Гарвей, Лилиан. Дитрих, Марлен». И — вот оно: «Манн, Томас. Манн, Генрих». Гляди-ка, братья, должно быть, и неужто оба писатели? В чем же они провинились? Шел уже четвертый военный год, когда я едва не узнал правды. Я лежал в постели у самой стены родительской комнаты. Стояла гнетущая жара. Перед тем как лечь, я с удивлением заметил, что отец закрывает все окна; но чуть погодя все объяснилось: за стеной прозвучали позывные лондонского радио. И тут же заговорил диктор Би-Би-Си: «У нашего микрофона сегодня — писатель Томас Манн».

Я сорвался с постели. Когда дверь неожиданно распахнулась, из-под одеяла выглянула перепуганная вспотевшая физиономия

отца.

— Томас Манн? Кто же он такой? — Я весь обратился в слух: раздался низкий, хорошо поставленный голос. Но он мгновенно смолк. Отец выключил приемник и торопливо перевел на другую волну.

— Писатель, — проговорил он весь бледный. — Но чтобы никому ни слова, слышишь! И вообще, откуда взялась эта книга, которую ты прячешь за Карлом Майем?

В конце концов два заговорщика изъявили свою готовность к мораторию. Толком я от своего перетрусившего союзника так ничего и не узнал. Читал он немного, а романы и вовсе почти не читал. Три недели спустя меня призвали. Через восемь месяцев я отправился на фронт, а еще через семнадцать, под Бад-Брамбахом, вырыл свой последний стрелковый окоп. На следующий день Томас Манн принес мне удачу.

По воле капитана Каструпа 8 мая 1945 года должно было стать для нас, так сказать, заключительной главой «Борьбы за Рим». Остготы устремились к Везувию. Мы окопались у каменной кладбищенской стены. Капитан Каструп гарцевал на своем вороном возле добросовестно вырытых окопчиков.

— Копайте глубже, ребята, все-таки надежнее. К тому же, если кто попадется, ему останется только сунуть в землю березовый крест.

За холмом громыхали американские «шерманы», они шли на тактическое построение. В унынье оглядел я вырытый окоп: он и впрямь смахивал на могилу.

Когда начался минометный обстрел, наш капитан галопом помчался к мглистому, истекающему дождем лесу, и — поминай, как звали! Мы же, девятнадцатилетние юнцы, по своему разумению разместив меж могилами станковые пулеметы, оцепенело уставились на уходящий вниз косогор. В полдень по лугу поползли первые «шерманы», время от времени они стопорили и палили из всех орудий.

Над головами струсивших остготов свистели осколки расстреливаемых надгробий. Затем откуда-то на бешеной скорости примчались две-три колонны джипов. Оттуда выпрыгнули солдаты и тут же залегли в стрелковую цепь.

У обреченных остготов стянутые ремнем шлема подбородки выстукивали дробь. Над фаустпатроном прошмыгнула полевая мышь. В сущности, я еще хотел жить, милый друг из Миннесоты. И куда только провалился капитан, свинья этакая! Раздался крик: «Прицел две тысячи!» В ответ другой: «Заткни хайло!» И третий: «Это неподчинение приказу!»

Внезапно высоко в серое небо взметнулись сигнальные

ракеты.

— Начинается артобстрел! — вскричал чей-то голос. Но мы слышали лишь лязг гусениц. И звук этот не только не приближался, но стихал. А из-за холма уже несся гул, гул ликующих голосов. По-прежнему тарахтели джипы. Но и этот звук уплывал прочь, шел на убыль.

— Да ведь они драпают! — заорал немецкий герой, хранивший до сих пор достойное молчание. Я поднял голову. Огибая на полной скорости косогор, джипы исчезали в лесу. «Шерманы» тоже скрылись из виду. Великая битва прикрылась, так и не начавшись.

Но, может, это обходный маневр? Мы на себе втащили станковые пулеметы на холм и тоже скрылись в лесу, который, кстати сказать, так и не вернул нам капитана. Напряжение сменилось волчьим аппетитом. В моем мешке оставалось еще немного хлеба и соли.

Из долины доносился колокольный звон. Мы терялись в догадках. Что это могло означать? Захват вражеских подразделений, которые почему-то не смогли вступить с нами в бой? Или пастору просто нечего делать? А может, нам подают сигнал? Ландскнехты Тридцатилетней войны, расположившись на мшистой земле, ждали. Впрочем, что им еще оставалось? Один из моих однополчан, размахивая пистолетом грозился пристрелить всякого, кто вздумает дать тягу.

— Почему ты не догадался сделать это, когда удирал капитан? — пробурчал я.

Белея от ярости, он навел на меня дуло. Но в это мгновенье закричали:

— Внимание, генерал!

По лесной дороге катил на велосипеде железнодорожник, седой симпатичный старик. Он был уже без регалий ушедшего в небытие крикуна из Браунау, его фуражка и френч были голы, как ощипанный петух.

— Ребятки, — обратился он к нам, — кидайте оружие! Мир, ребятушки, мир! Сегодня Германия капитулировала!

И старик принялся хохотать. Затем он протянул нам сигареты в коробке, где был нарисован верблюд. Пистолеро, решивший было поупражняться в стрельбе по пораженцам, с воем катался по мху. Мы отобрали у него оружие. И вот я сижу на земле и выписываю английские слова. Как же оно, это слово, что сейчас может спасти нам жизнь? Ага, prisoner of war, военнопленный. Но «военно» уже не актуально, значит, просто prisoner, «пленный».

Бад-Брамбах не обратил внимания на то, что внезапно

появилось из лесной чащи. На лестнице, ведущей к отелю, сидел американский солдат в обнимку с ядреной девахой. Щурясь на солнце, которое как раз выглянуло из-за туч, он не замечал нас, как охотник не замечает косулю в запретное для охоты время. У входа в кино, примостившись на корточках, негр варил на спиртовке кофе. Он добродушно улыбался. У нас затрепетали ноздри. Страх и жадность к едва знакомому напитку уравновешивали друг друга.

Но вот наконец нас углядели. У распахнутого окна брился офицер. Он только успел густо намылить одну щеку, как рука его — в ней была бритва — беспомощно дернулась. Затем он попросту выпрыгнул из окна и стал перед нами.

— Оружие?

— Безоружны.

— Пленные?

— Еще нет.

— Солдаты гитлеровской армии?

— Уже нет.

Благодарение богу, я стрекотал, словно вязальная машина, разматывая натканную на школьных уроках английскую пряжу. Двое-трое товарищей переговаривались друг с другом. Не знаю, сколько времени мы так простояли бы, если б чьи-то сильные руки не схватили нас весьма неучтиво за шиворот. «Первый, второй, третий», — счет сопровождался пинками. «Техас-Оклахома» стояло на нарукавных нашивках… Поди, у себя на родине эти парни пересчитывают так телок. «Cattles»[5], всплыло откуда-то английское слово. И вот нас уже ведут в кэмп, дабы мы предстали перед взорами, то бишь перед подметками, сержантов Вайса, Вилера и Бенсона, перед группой допроса, которая специализировалась на вервольфах. Последовавшее удивление было взаимным.

Нас втолкнули в барак. Справа, на стене, переливалось многоцветье американского флага. Слева красовалась глянцевая фотография президента. Посредине стоял широченный стол, на нем покоились три пары каучуковых подошв, свидетельствовавшие об искусной работе американских обувщиков. Я же чувствовал под ступнями дощатый пол: на обоих сапогах было по дыре.

Первый подсудимый сделал шаг вперед. Рядом с подошвами стояла фотография. Гитлер со своим кабинетом. На визитке кто-то выцарапал. «Мессермакс и его банда».

— Вы знаете Мессермакса? — раздался усталый голос.

— Нет, — ответил подсудимый. — Но вот этого я знаю. Это

Гитлер.

— Брехта читал?

— Нет.

— А «Mein Kampf»?[6]

— Нет.

Святая правда. Как можно было читать эту занудную муру! Правда, вовремя сообразить это никому бы не помешало, ибо творение крикуна из Браунау обеспечивало своим почитателям путевку в ад. Подошла моя очередь. Специалисту в английской филологии вручили «Stars and Stripes», американскую армейскую газету.

— Переведите.

— Встреча с немецкой молодежью — корреспонденция Клауса Манна. — С грехом пополам выдавил я из себя несколько слов. Я сносно понимал текст, но смущало знакомое имя. Кто же это — брат таинственного Томаса, его отец или, может быть, сын?

— Прошу прощения, я знаю Манна, ну, который «Будденброки». Да, разумеется, не его, а роман, просто я его читал.

Пара ботинок сползла со стола. Перед оробевшим толмачом очутился сержант Вилер. Густой сигарный дым застлал мне глаза.

— Вы это только что выдумали, хотите дешево отделаться.

Пришлось изложить содержание романа. Зачем им это понадобилось? Лишь какое-то время спустя я понял, что трое братьев-эмигрантов, чьи близкие погибли в газовых камерах гитлеровской Германии, впервые пробовали себя в деле так называемого перевоспитания.

Ненависть боролась в Вилере с состраданием. Но имя Томаса Манна могло склонить чашу весов в нашу пользу. Во всяком случае, когда наутро, сидя в лагере, я пересчитывал добычу — своих перебитых вшей, явился часовой и опять повел меня в барак. У окна стоял Вилер. Изжеванная сигара остывала в пепельнице. Видно, он не один час провел в размышлениях.

На столе лежали «Будденброки», рядом произведения брата. Вилер мерил шагами комнату, кольт все время хлопал его по колену. Пришлось выложить свою историю: как мне удалось прочитать Манна. Вероятно, добряк Вилер понял не больше половины из повести о блужданиях юноши по преисподней третьего рейха. Но я чувствовал, что он мне верит, верит потому, что за меня ручается Томас Манн.

— Прочтите все это, — сказал он под конец. — И считайте это приказом. А впредь выбирайте именно те книги, которые вы и ваши сверстники сжигали на кострах. Читайте побольше. Помните, эти книги — лучшие наставники.

Так вчерашние изгнанники протянули мне руку, чтобы на пороге свободы вывести меня из мира недочеловека в мир человека. Спустя восемь месяцев Вилер выдал мне отпускное свидетельство.

— Ступайте домой. Садитесь снова за парту. Хорошенько удобрите почву, чтобы семя взошло.

Что я и сделал. Я перебрался в советскую оккупационную зону; Вилер уже не знал об этом. Но, думаю, одобрил бы. Ибо, конечно же, он был против того союза со вчерашними злодеями, который позже привел к ярому антикоммунизму. Во всяком случае, это он помог заблудшему выйти на правильный путь. И заблудший благодарен ему по сю пору.

«Интересно, как они будут меня слушать, — думал отец, мчась на встречу с сыном. — Но ведь я буду рассказывать о себе. А значит, и о том, что книга может изменить человеческую судьбу. В этом значимость для нас литературы. Писатель — это долг, писатель — это ответственность. Вот почему День свободной книги — это не просто день воспоминаний, он устанавливает нравственный критерий.

Ну, а утешить ротного старшину, у которого такие распри с молодым берлинским рабочим, надо будет. Просто сказать ему, что, хотя солдату и важно, чтобы в шкафу был полный порядок, куда важнее порядок в головах молодых новобранцев. Ротный старшина национальной Народной Армии поймет меня, я уверен».

Перевод Л. Бару.

Криста Вольф
ПЕРЕЛОМ

1

Не могу вспомнить, во что была одета моя бабушка, когда жуткое слово *Азия* заставило ее снова встать на ноги. Почему в моей памяти первой возникает именно она, я не знаю, — при жизни бабушка всегда держалась в тени. А вещи ее я помню прекрасно: коричневое платье с вязаным воротничком, которое она надевала на рождество и в дни семейных праздников, черная шелковая блузка, клетчатый фартук и черная в крапинку вязаная кофта, в которой она, сидя зимой у печки, зачитывалась «Ландсбергским генераль-анцайгером». Но для такой поездки у нее не было чего-либо подходящего, тут уж память меня не подводит. Вот ботинки на пуговках пришлись весьма кстати, их всегда можно было видеть на ее коротких, немного кривых ногах, вечно болтавшихся сантиметра на два над полом, даже когда бабушка сидела на нарах в бомбоубежище или если полом оказывалась просто утоптанная земля, как это было в тот апрельский день, о котором я рассказываю. Гул бомбардировщиков — а они теперь среди бела дня летали над нами на Берлин — прекратился. Кто-то рывком распахнул дверь бомбоубежища, и в светлом, солнечном треугольнике около входа, вблизи от бабушкиных ботинок, обрисовались высокие черные сапоги с торчащим из них офицером-эсэсовцем, в белокурых мозгах которого, должно быть, крепко засело каждое слово, произнесенное бабушкой во время длительной воздушной тревоги:

— Нет-нет, отсюда вы теперь меня никуда не вытащите! Пускай уж они меня убивают, такую старуху и не жалко вовсе.

— Что-что? — сказал эсэсовец. — Тут, кажется, кому-то жить невмоготу? Думаете, лучше попасть в лапы этих азиатов? Русские-то всем женщинам подряд груди отрезают.

Бабушка снова заохала:

— Боже милостивый, чем же люди заслужили такое!

Дед цыкнул на нее:

— Опять понесла свою ерунду.

И я будто сейчас вижу, как они идут во двор и занимают каждый свое место возле нашей ручной тележки: бабушка в черном суконном пальто и в полосатом коричневом платке на

голове, — его еще мои дети донашивали как кашне, — берется правой рукой за заднюю перекладину, дедушка — в шапке-ушанке и в тужурке из материи в рубчик — встает у передка. Надо спешить, близится ночь и близится враг, хотя наступают они с противоположных сторон: ночь с запада, враг с востока. А на юге, где они встречаются и где расположен городок Науен, огонь бьет прямо в небо. Мы все одинаково понимаем эти огневые письмена, их пророческий смысл означает для нас одно: на запад.

Но сначала нам надо разыскать нашу маму. Она вечно исчезает, когда пора двигаться дальше: ее тянет назад, хотя идти следует только вперед, и вот, частенько не зная, какому побуждению отдать предпочтение, она попросту убегает под любым предлогом, бросая на прощание: «Ей-богу, повешусь!» А мы, я и мой брат, по детской своей наивности каждую фразу воспринимающие дословно, бежим в прилегающий лес, в котором маме решительно нечего делать, да и нам, разумеется, тоже, и, подмечая один у другого взгляд, скользящий по кронам деревьев, стараемся не смотреть друг на друга, говорить же о невыносимо страшных опасениях мы и вовсе не можем, поэтому мы молчим даже тогда, когда наша мама, — с каждой неделей она становится все худее и костлявее, — появляется со стороны деревни и, бросая в тележку мешочек с мукой, принимается осыпать нас упреками:

— Носитесь здесь, людей пугаете, что вам такое втемяшилось? А кто, если не я, пойдет, по-вашему, выуживать еду у крестьян?

И она впрягается спереди в тележку, мы с братом приналегаем сзади, небо то и дело вспыхивает зловещим фейерверком, и мне вдруг снова слышится свистящий звук — это сходит с рельсов поезд благожелательной реальности и на бешеной скорости устремляется в такую невероятную, такую непроницаемую нереальность, что меня разбирает смех, неуместность которого я и сама прекрасно сознаю.

Только разве я смогу объяснить, что смеюсь не над нами? Упаси боже смеяться над нами, добропорядочными оседлыми людьми из трехэтажного дома с тополем у входа, живущими теперь вроде старика и старухи из ветхой землянки: «Рыбка, рыбка Тимпете, приплыви скорей ко мне. Ильзебилль, жена моя, хочет стать женой короля». А ведь прежде у нас и желания не могло возникнуть сделаться там королем, папой или господом богом: довольный судьбой, один из нас продавал внизу, в лавке, муку и комбижир, соленые огурцы и суррогатный кофе, другой за столом, покрытым черной клеенкой, зубрил английские слова, поглядывая время от времени на город и реку; тихо, мирно простирались они внизу, не вызывая во мне желания когда-либо

покинуть их, мой младший брат с невероятным упорством сооружал из конструктора все новые и новые чудеса, которые он с помощью веревок и колесиков пытался привести в какое-нибудь, пусть даже бессмысленное, движение, в то время как наша бабушка наверху, на кухне, жарила картошку с луком и майораном, — жарить так картошку после ее смерти уже никто не умеет, — а дедушка, повесив просмоленную дратву на шпингалет окна и отвязав синий сапожный фартук, принимался тут же на деревянной дощечке надсекать ножом корочки хлеба — как бы иначе его беззубый рот мог их потом разжевать?

Да, трудно разобраться в том, для чего нас превратили в бездомных бродяг, но еще труднее объяснить, почему я над этим все время смеюсь. Смеюсь, хотя мой дядя — он «коренник» во второй тележке нашего маленького обоза — в который раз уже подозрительно спрашивает:

— Хотелось бы знать, над кем здесь можно смеяться?

Смеюсь, хотя сознаю, что опасение, не над тобой ли смеются, неминуемо возникает у каждого, даже если его будут клятвенно заверять в обратном. Смеюсь, хотя мне хочется успокоить дядю, сказать, что смеюсь я исключительно над собой, — и это сущая правда, — поскольку в этот момент мне кажется, будто меня с ними нет, хотя одну из фигур, подгоняемую в темноте ветром, любой принял бы за меня. Сам себя не видишь, когда уходишь в себя с головой, я же видела всех, в том числе и себя (как вижу всех нас и сегодня), словно кто-то вытащил меня из моей оболочки и, поставив рядом со мною же, приказал: «Смотри!»

Что я и делала, правда, без особого удовольствия.

Вот мы сворачиваем с проселочной дороги и медленно тащимся в темноте по ее ответвлениям, вот добираемся до аллеи, которая подводит нас к воротам и дворовым постройкам какого-то имения, вот, несмотря на ночь, к конюшням, немного прихрамывая, подходит сутуловатый мужчина, не обладающий, видимо, даром чему-либо удивляться, поскольку он приветствует наш измученный, находящийся на грани отчаяния отряд невозмутимо и на свой манер:

— А, это вы, Содом и Гоморра! Ну, ничего, ничего! Местечко в маленьком бараке как раз найдется для любящей парочки!

— Чудак какой! — удрученно заметила мама, когда мы последовали за Калле во двор, а дедушка, обычно скупой на слова, не без удовольствия пояснил:

— Видно, у него не все дома.

Так оно и было. Калле стал, например, называть дедушку мастером, хотя дед за свою жизнь добился только таких «высоких» чинов, как «рядовой императорского пехотинского

полка», «сапожный подмастерье господина Лебузе из города Бромберга», «стрелочник имперской железной дороги», «инспектор округа Франкфурта-на-Одере».

— Послушай-ка, мастер, — сказал Калле, — располагайся вон там, в закутке. — И удалился, насвистывая: «Выпьем-ка еще по чарке, выпьем-ка еще по чарке…»

Кипяток и чай все эти люди, спящие на двухэтажных кроватях, видимо, уже получили и съели свои неизменные бутерброды с ливерной колбасой, — это легко можно было определить по запаху: даже во сне я прикрывала нос рукой. Дедушка — он у нас плохо слышал — стал было по привычке читать на сон грядущий «Отче наш», но едва он проговорил: «И остави нам, господи, долги наши», — как бабушка крикнула ему в самое ухо, что он не дает людям спать, и они поссорились. Теперь пререкания стариков могли слышать все, тогда как прежде их слышали лишь скрипучие деревянные кровати да ангел-хранитель в черной раме, с изречением внизу: «Не отчаивайся, даже если дал трещину последний якорь спасения».

На рассвете нас разбудил тот же Калле.

— Волами править умеешь? — спросил он моего дядю. — Господин Фольк, здешний помещик, уезжает со всеми чадами и домочадцами, только вот волами, которые повезут фураж, некому править.

— Как-нибудь справлюсь, — сказал дядя, хотя тетка тут же прицепилась к нему как репей, доказывая, что волы невесть какие опасные животные и что нечего ради чужих людей рисковать своей…

— Заткнись, — цыкнул он на нее. — А как, интересно, ты повезешь отсюда свое барахло?

Нам всем разрешили сесть на телегу, а нашу ручную тележку привязали к ее задку.

— Здорово, черт возьми, — сказал Калле, — только не думайте, что волы будут двигаться быстрее вашей тележки.

Тут в охотничьей шляпе, суконном полупальто и в брюках-гольф пожаловал господин Фольк, чтобы, хлопнув по рукам, заключить с новоиспеченным кучером соглашение, подошла и фрау Фольк, пожелавшая заученно учтивым тоном поприветствовать женщин, волей-неволей принадлежавших теперь к ее свите; я ее сразу возненавидела, потому что она говорила мне «ты» и позволяла своей таксе Бинхен обнюхивать наши ноги, видимо, пахнувшие ливерной колбасой. Зато моя тетка мигом смекнула, что нам предстоит иметь дело с благородными, уж конечно, ее муж не нанялся бы к какой-нибудь шушере. В это время где-то сзади открылась стрельба, и мы

тронулись ускоренным шагом. «Господь бог не оставит детей своих», — сказала моя бабушка.

Ночью я в последний раз видела сон, часто мучавший меня в детстве: мне снилось, будто отец и мать совсем не мои родители, будто в младенчестве меня перепутали с дочерью лавочника Рамбова из Фридрихштадта, а этот бестия слишком хитер, чтобы заявлять о своих притязаниях на меня; разобравшись во всем, он потихоньку принимает свои меры, а я стороной обхожу улицу, на которой он, стоя в дверях своей лавки, частенько поджидает меня с леденцами на палочке. Однако в эту ночь во сне я заявила ему, что теперь ни капельки не боюсь его, что власти у него надо мной уже нет и отныне я сама буду забегать к нему каждый день за двумя плитками шоколада. И лавочник Рамбов безоговорочно принял мои условия.

Без сомнения, с ним я разделалась окончательно. И хотя меня, разумеется, ни с какой девочкой не перепутали, все равно я была теперь я и не я. И до конца дней мне будет помниться, как в меня вошло это стороннее существо, полностью завладевшее мной и обращавшееся со мной, как ему вздумается. Произошло это в холодное январское утро, когда, покидая второпях на грузовике свой родной городок (ехали мы на Кюстрин), я вдруг с удивлением обнаружила, что городок наш, в котором мне всегда доставало света и красок, в действительности оказался серым и будничным. Именно в этот момент кто-то внутри меня произнес медленно и отчетливо: прежнего города тебе уже никогда больше не увидеть.

Ужас мой не поддается описанию. Я поняла, что приговор обжалованию не подлежит. Мне осталось одно: верно и точно сохранить для себя в памяти все, что я знала, улавливать приливы и отливы слухов и надежд и пока выполнять все, что требовали от меня другие: говорить только то, что им хотелось от меня услышать. Что касается стороннего существа во мне, то оно мужало и крепло и, возможно, на моем месте постепенно перестало бы повиноваться. Оно и теперь нет-нет да и толкнет меня в бок: обрати внимание, они наблюдают за тобой, словно ты им чужая. Надо же, опять она смеется. А над чем, спрашивается?

2

Когда меня попросили рассказать об освобождении, о том, как проходил его первый час, я подумала, что это не составит труда. На протяжении стольких лет этот час стоит перед моими глазами, словно отчеканенный, в любую минуту готовый к

воспроизведению, а если у меня и были причины до сего времени не извлекать его из памяти, то минувшее двадцатипятилетие устранило их или, говоря точнее, помаленьку свело на нет. Казалось, стоит подать команду, аппарат заработает, и на бумаге сама собой потянется вереница образов, картин, точных и ярких. Против ожидания я вдруг запнулась на вопросе о том, во что была одета моя бабушка во время наших скитаний, затем вспомнила то стороннее существо, которое в один прекрасный день действительно превратило меня в себя, потом изменилось само и, естественно, изменило свои суждения, и наконец я примирилась с тем, что из вереницы образов ничего не получится, поскольку воспоминания — это не альбом с картинками, складывающийся гармошкой, поскольку освобождение человека связано не только с датой и случайным передвижением союзных войск, но и с какими-то трудными и затяжными изменениями в нем самом. Время же, устраняя одни причины, непрерывно рождает другие, затрудняя тем самым точное определение часа; надо четко уяснить, от чего ты освободилась, а уж если быть откровенной до конца, то и для чего. На ум вдруг приходит воспоминание о конце детских страхов, лавочник Рамбов, который в жизни, наверное, был славный человек; неудовлетворенная, ты начинаешь искать новое начало, а оно опять рисует все весьма приблизительно, и дело не двигается с места. Или кот момент, когда я перестала бояться пикирующих бомбардировщиков. Что посеешь, то и пожнешь, сказал бы наш Калле, будь он жив, но его, как и многих других, упомянутых здесь, наверняка уже нет в живых (смерть, оказывается, в самом деле устраняет причины). Его нет, как нет, скажем, батрака Вильгельма Грунда, в живот которого американские штурмовики всадили пулеметную очередь. Он был первым увиденным мною покойником: поздновато по тем временам. (Грудной младенец — тугой сверток, который я сняла с грузовика, чтобы передать его одной из беженок, — в счет не идет, я его не видела; услышав, как закричала его мать, я бросилась наутек.) Что касается Вильгельма Грунда, то на шоссе следовало лежать не ему, а мне, — ведь мой дядя случайно задержался в это утро в сарае у больной лошади и мы не выехали, как обычно, вместе с Грундами первыми на шоссе. Вот где следовало находиться нам, а не в безопасном месте, говорила я себе, хотя там тоже слышны были выстрелы, кроме того, в сарае от страха бесились пятнадцать лошадей. Ведь с того дня я, собственно, и боюсь лошадей. Но еще больше я боюсь лиц людей, только что видевших то, чего не должен видеть ни один человек на земле. Именно такое лицо было у мальчика-батрака Герхарда Грунда, когда, открыв ворота сарая и шагнув по инерции

несколько раз, он рухнул на землю.

— Господин Фольк, что они сделали с моим отцом!

Ему было столько же лет, сколько и мне. Его отец лежал в пыли у края шоссе рядом со своими волами, устремив неподвижный взгляд вверх, или, как принято говорить в этих случаях, в небо. Я понимала, что подобный взгляд ничто не в силах возвратить на землю — ни вопли жены, ни плач троих детей. Кстати, на сей раз нам почему-то забыли сказать, что это зрелище не для нас. «Быстро, — сказал господин Фольк, — всем, всем следует уходить отсюда как можно быстрее». И точно так же, как они подхватили мертвое тело за плечи и за ноги, они подхватили бы и меня, чтобы оттащить к опушке леса. Точно так же гробом для любого из нас, в том числе и для меня, послужил бы кусок брезента из помещичьего амбара. Как и батрака Вильгельма Грунда, меня опустили бы в яму без песнопений и молитв. Чуть-чуть поплакав обо мне, они двинулись бы дальше, как это сделали мы, потому что медлить было опасно. Долгое время они молчали бы, как молчали теперь мы, но желание уцелеть заставило бы их разговориться, и, наломав березовых веток, они утыкали бы ими свои телеги, точно так, как сделали мы, полагая, что вражеских летчиков можно ввести в обман этакой блуждающей рощей. Все, все было бы как сейчас, только среди них не было бы меня. А разница эта, существенная для моей особы, для большинства других ничего бы не значила. Герхард Грунд ведь уже сидел на месте отца, погоняя волов отцовым кнутом, причем господин Фольк одобрительно кивал ему головой:

— Молодчина! Твой отец пал как настоящий солдат.

Ну уж в это я нисколько не верила. Смерть солдата описывалась в учебниках и газетах совершенно иначе, поэтому я тут же заявила инстанции, с которой у меня был постоянный контакт и которую я — пусть с сомнениями и оговорками — именовала богом, что муж и отец четырех детей, как, впрочем, любой другой человек, не должен, по моему разумению, столь неподобающим образом уходить из этого мира.

— Что поделаешь — война, — заметил господин Фольк.

И хотя с этим трудно было не согласиться, все равно здесь было явное отклонение от идеала смерти за «рейх и за фюрера», но я даже не спросила, кого мама имела в виду, когда, обнимая фрау Грунд, она пробормотала:

— Проклятые, бандиты проклятые!

О второй волне — показались два американских штурмовика — свистком предупредила я, поскольку дело происходило во время моего дежурства. Как я и предполагала, «березовая роща»,

хорошо просматриваемая на открытом шоссе, была достаточно легкой добычей. Все, кто еще мог бежать, спрыгнули с телег и бросились в кювет вдоль обочины. В том числе и я. Но на сей раз я не уткнулась лицом в песок, а легла на спину, дожевывая бутерброд. Так я поступила совсем не потому, что жаждала смерти, и, уж конечно, не потому, что принадлежала к числу тех, кто не ведает страха; к сожалению, это чувство было мне знакомо даже больше, чем следует. Но в один день дважды не умирают! К тому же в этот момент мне непременно захотелось увидеть того, кто будет в меня стрелять, ведь в каждом самолете — вдруг осенило меня — сидит по нескольку человек. И правда, сначала под крылом блеснули белые звезды, потом самолеты сделали по второму заходу, я обнаружила совсем рядом головы летчиков в шлемах, наконец различила белые пятна их лиц. Пленных я видела не раз, но лицом к лицу с нападающим врагом оказалась впервые, и, отлично зная, что врага следует ненавидеть, я вдруг неожиданно спросила себя, неужели им доставляет удовольствие то, что они делают. Впрочем, они тут же и улетели.

Когда мы вернулись к обозу, один из наших волов, его звали Генрих, неожиданно рухнул на колени. Из горла у него хлынула кровь. Дядя и дедушка распрягли его. Дед, ни слова не проронивший у тела Вильгельма Грунда, изрыгал теперь из своего беззубого рта поток проклятий.

— Кого убивают? Ни в чем не повинную скотину, — кричал он хриплым голосом, — псы поганые, гады проклятые, подлецы, одни не лучше других!

Я боялась, что он вот-вот заплачет. Пусть уж отводит душу в ругательствах. Я заставила себя несколько мгновений смотреть на вола. В его взгляде, думается, не могло быть упрека, но почему же тогда я почувствовала себя виноватой? Господин Фольк протянул моему дяде охотничье ружье и показал на место за ухом вола. Нас отослали прочь. Когда раздался выстрел, я оглянулась. Вол тяжело валился на бок. Женщины весь вечер были заняты стряпней. Когда же, усевшись в солому, мы принялись за бульон, было уже темно. Калле, все время жаловавшийся на голод, жадно выхлебал свою миску, вытер рот рукавом и от удовольствия хрипло запел:

— Все голубки стонут, все голубки стонут, лишь капустный голубец…

— Вот стервоза, черт тебя побери! — обругал его дед. Калле же, повалившись на солому, прикрыл голову курткой.

3

Нельзя поддаваться страху, если страхом охвачены все. Уразумев это, чувствуешь своего рода освобождение, но, поскольку наше освобождение еще впереди, мне хочется обрисовать то, что ему предшествовало и что сохранила от этого времени моя память. Было 5 мая, великолепное утро; вдруг возникла очередная паника — разнесся слух, будто нас окружили советские танки, и тут же поступило распоряжение — быстрым темпом двигаться на Шверин, там, мол, американцы; диву даешься, если ты, конечно, не потерял способности рассуждать, с какой поспешностью все вдруг ринулись навстречу врагу, столько времени посягавшему на нашу безопасность и жизнь. Лично мне ни одна из имеющихся возможностей не казалась желанной или хотя бы приемлемой, однако окружающие упорно противились гибели, не представляя себе, как они смогут приспособиться к грядущему светопреставлению. Мне, например, понятны были страшные слова, произнесенные женщиной, которой объяснили, что чудодейственное оружие, мечта нашего фюрера, сейчас может уничтожить всех подряд — и врагов и немцев. «Ну и пусть бы…» — сказала эта женщина.

Мы двигались вверх по песчаной дороге мимо последних домов какой-то деревушки. Возле красного домика мекленбургского типа около колодца умывался солдат. Рукава его нижней белой рубашки были высоко засучены, ноги широко расставлены. Вдруг он крикнул нам:

— Фюрер умер!..

Будто сказал: «Ну и погодка сегодня».

Еще больше, чем сознание, что это правда, меня поразил тон, каким были сказаны эти слова.

Я тащилась рядом с нашей телегой, слышала хриплые понукания возниц и храп измученных лошадей, видела костры на обочинах дорог, — это офицеры вермахта жгли документы, — видела, как в придорожных канавах с неимоверной быстротой растут груды винтовок, автоматов и фаустпатронов, замечала все эти пишущие машинки, радиоприемники и прочую дорогостоящую военную аппаратуру, бессмысленно валявшуюся вдоль дороги, а в душе у меня все снова и снова звучала эта фраза — невозможно, чтобы она была просто обыденной фразой, мне казалось, громом должна была она отдаваться между небом и землей.

Затем началось бумажное наводнение. Вся дорога оказалась вдруг усыпана бумагой, которую все в большем количестве с неистощимой яростью выбрасывали из военных машин, принадлежащих вермахту: всевозможные формуляры, мобилизационные предписания, циркуляры, бланки районных

призывных пунктов — словом, обычная канцелярщина, среди которой иногда попадались секретные приказы командования и данные о погибших, извлеченные из сейфов с двойными запорами, содержанием которых, поскольку их бросали прямо нам под ноги, теперь уже никто не интересовался. И словно в этом бумажном неистовстве было что-то омерзительное, я ни разу не нагнулась поднять хотя бы один листок, о чем после очень жалела, зато банку с консервами, которую мне бросил водитель какого-то грузовика, поймала на лету. Взмах его руки напомнил мне другой, часто повторявшийся в свое время взмах — это летом тридцать девятого я, ребенком, бросала пачки сигарет солдатам в запыленные транспортные колонны, день и ночь двигавшиеся мимо нашего дома на восток. За минувшие шесть лет мое детство кончилось. Теперь снова наступало лето, но вот зачем оно мне, я не знала. На одной из проселочных дорог был брошен на произвол судьбы обоз какого-то подразделения. Всякий, кто проходил мимо, брал с машин столько, сколько мог унести. Нарушился порядок и в нашем маленьком отряде: тот, кто еще недавно был вне себя от страха, вдруг сделался вне себя от жадности. Только Калле смеялся: притащив к нашей телеге брусок сливочного масла, он захлопал в ладоши и затараторил:

— Ах ты, черт собачий! Да тут сбеситься можно!

В этот момент мы увидели заключенных концлагеря. Словно призрак, всю дорогу нас преследовал слух, что из Ораниенбурга их гонят вслед за нами. Но у меня ни разу не возникло подозрение, что мы бежим также и от них. А теперь они стояли на опушке леса и, казалось, настороженно принюхивались, почуяв нас. Мы, конечно, могли бы подать им знак, что опасности нет, однако ни один из нас этого не сделал. Осторожно, крадучись, они шли к дороге. Выглядели эти люди совершенно иначе, чем те, кого мне приходилось когда-либо видеть, и то, что мы невольно отпрянули, меня нисколько не удивило. Однако это движение и выдало нас; оно говорило о том, что мы все, пусть каждый в отдельности уверял себя и других в обратном, знали, как с ними обстояло дело. Теперь же мы, несчастные и жалкие, отторгнутые от своих жилищ и от своего имущества, от крестьянских домов и помещичьих усадеб, от лавок, душных спален и гостиных с полированной мебелью и портретом фюрера на стене, все мы отчетливо осознали — эти люди, приравненные к животным и приближавшиеся сейчас к нам, чтобы отомстить за себя, преданы нами. Еще минута — и они наденут на себя наши одежды, сунут окровавленные ноги в нашу обувь, голодные, они отнимут у нас только что раздобытые сливочное масло, муку и колбасу. С ужасом я вдруг почувствовала, что это будет справедливо, и на

какую-то долю секунды поняла нашу общую вину. Но потом я снова о ней забыла.

Заключенные бросились не к хлебу, а к оружию, валявшемуся в кювете. Вооружившись до зубов и попросту не замечая нас, они пересекли дорогу, с трудом взобрались на противоположный откос и выстроились там с автоматами на изготовку. Молча смотрели они на нас сверху вниз. Я не выдержала и отвела глаза. Пусть бы они кричали, думалось мне, или стреляли в воздух, пусть даже в нас, черт возьми! Но они стояли спокойно, хотя было видно, что некоторые, пошатываясь, едва удерживались на ногах и с неимоверным трудом держали в руках оружие. Должно быть, о таких минутах они мечтали там днем и ночью. Но, увы, я ничем не могла им помочь, равно как и они мне, я их попросту не понимала и нисколько в них не нуждалась, они мне были решительно чужды.

Вдруг впереди раздался голос: всем, кроме возниц, предлагалось слезть. Это был приказ. Вздох облегчения пронесся над обозом, поскольку это означало — нам предстояло сделать последние шаги к свободе. Но не успели мы тронуться, как возницы из поляков соскочили наземь, привязали вожжи за передки телег, положили кнуты на сиденья, живо собрались в отряд и — кру-гом, шагом марш! — прямехонько отправились на восток. Господин Фольк, покраснев, как индюк, загородил им дорогу. Сначала он говорил с ними тихо, потом стал кричать, обвиняя всех в саботаже, в нечестной игре, в измене. И я увидела, как польские рабочие оттеснили немецкого помещика. Видно, и правда мир перевернулся вверх тормашками, но господин Фольк знать об этом не знал и по привычке схватился за кнут, однако его замах пропал даром — кто-то схватил руку господина Фолька, и кнут упал на землю. Поляки же двинулись дальше. Господин Фольк, держась за сердце, тяжело прислонился к телеге, предоставив тонкогубой жене и глупой таксе Бинхен утешать его, в то время как Калле сверху поливал его бранью. Французы, оставшиеся с нами, выкрикивали вдогонку полякам пожелания счастливого пути, те понимали их слова не больше, чем я, но смысл они поняли, так же как и я; мне было обидно, что я не причастна к их радости, к этим вот окликам, к бросанию вверх шапок, к их языку. Но так оно и должно было быть. Мир состоял из победителей и побежденных. Одни могли свободно изливать свои чувства. Другие — мы — впредь должны были таить их в себе. Нельзя же было, чтобы враг видел нашу слабость.

А враг тут же объявился. Огнедышащий дракон показался бы мне милее, чем подкативший к нам легкий джип с жующим жевательную резину водителем и с тремя развалившимися на

сиденьях офицерами, которые, в бездонном презрении к нам, не потрудились даже расстегнуть кобуру своих револьверов. Я сделала безразличное лицо, стараясь смотреть мимо них, убеждая себя, что этот наигранный смех, эти вычищенные мундиры и равнодушные взгляды, эти мерзкие повадки победителей им нужны, чтобы лишний раз нас унизить.

Вокруг меня все стали прятать часы и кольца, я тоже сняла с запястья часы и небрежно сунула их в карман своего пальто. Сержант, стоявший в конце ложбины, долговязый неуклюжий парень с немыслимым шлемом на голове, — эти шлемы неизменно смешили нас в киножурналах, — одной рукой указывал немногим, имевшим при себе оружие, куда им бросать его, другою же привычными движениями обыскивал нас, гражданских. Окаменев от возмущения, я позволила обыскать себя, втайне гордясь, что и меня заподозрили в ношении оружия, причем утомленный от своих обязанностей сержант в соответствии с инструкцией спросил у меня:

— Your watch?

Ему, победителю, захотелось, видите ли, заполучить мои часы. Однако этот номер не прошел, мне удалось его провести, сославшись на то, что другой your comrade, ваш, мол, напарник, уже изъял их. И часы мои остались при мне. В это время мой обостренный слух снова уловил нарастающий гул самолета. И хотя меня это нисколько не касалось, я по привычке все-таки следила глазами за направлением его полета, инстинктивно даже бросилась на землю, когда он резко пошел вниз, — отвратительная темная тень, стремительно пронесшаяся по траве и деревьям с отвратительным свистом пуль, вонзавшихся в землю. «Неужели опять?» — подумала я с удивлением, отметив про себя, что с каждой секундой все больше привыкаешь жить вне опасности. С чувством злорадства наблюдала я, как американские артиллеристы наводят на цель американское орудие и стреляют по американскому же самолету, который поспешно взмыл вверх и скрылся за лесом.

А теперь несколько слов о том, что было, когда снова наступила тишина. Некоторое время я продолжала лежать под деревом. Мне было безразлично, что начиная с этой минуты на меня уже не обрушится ни одна бомба и меня не обстреляет ни один пулемет. Меня не интересовало, что сейчас будет. Я не знала, для чего дракону становиться добрым после того, как он перестал изрыгать огонь. Не представляла себе, как следовало поступить доблестному Зигфриду, когда дракон, вместо того чтобы сожрать его со всеми потрохами, снимает с него часы. Не испытывала желания смотреть, как господин дракон и господин

Зигфрид станут договариваться друг с другом в качестве частных лиц. Еще меньше мне хотелось ходить за каждым ведром воды к американцам на занятые ими виллы и пускаться там в дебаты с черноволосым лейтенантом из Огайо, — последнему я напрямик заявила, что ненависть к нему диктует мне моя гордость.

Но чего я совершенно не желала, так это пускаться в разговоры с заключенным концлагеря, который в криво сидящих на носу очках в проволочной оправе расположился вечером у нашего костра и неслыханное слово «коммунист» произносил так, будто это было будничное, дозволенное слово, вроде знакомых нам «ненависть», «война», «истребление». Не было мне дела до звучавших в его голосе горечи и разочарования, когда он спрашивал нас: «И где только, скажите на милость, вы были все эти годы?»

Я не жаждала освобождения. Лежала себе под деревом, кругом было тихо. Я была растерянна, мне представлялось важным запомнить ветки дерева на красивом майском небе. И вдруг я неожиданно заметила долговязого сержанта, который, сменившись, взбирался по откосу в сторону вилл, держа под руки двух хихикающих немецких девиц. Наконец-то у меня появилась причина повернуться на бок и зареветь.

Перевод Г. Чистяковой.

Герман Кант
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Я лежал под кроватью: стало быть, я лежал под кроватью. Видимо, там было пыльно. Пыль вперемешку с жиром набилась в углы рта. Я только что поел сала, поджаренного сала. Потом я, правда, пил чай, но вкус сала держится дольше, а теперь к нему присоединился еще и вкус пыли. Стало быть, я лежал под кроватью.

Я не застегнул портупею, замок затвора давил на правое бедро. Галстук развязался; один его конец прикрывал кусок пола, к которому прижималась моя левая скула. Я лежал очень спокойно, но покоя не испытывал. Я был так же спокоен, как заяц, который только что увидел охотника. Я только что заслышал охотников и вот, стало быть, лежал под кроватью.

Секунду, минуту, столетье назад я еще сидел за столом. Наевшись, напившись, отогревшись, в безопасности, уже наполовину спящий. Мы как раз говорили о том, как бы поспать. Оставалось лишь заставить себя подняться и кинуться ничком на постель. Тогда они нашли бы меня на кровати. А так придется им искать под кроватью. Уже нашли.

Я лежал под кроватью чуть южнее шоссе, идущего от Кутно в Конин, где-то повыше Коло. «Чуть», «где-то», — ведь у меня не было ни компаса, ни карты. Это произошло 20 января, говорю я теперь, но календаря у меня не было, равно как и часов. Часы я видел в последний раз 13 января, а 16-го мне в последний раз сказали, который час, — и тоже неопределенно. Трудно сказать что-нибудь точно, когда никакие законы и правила не имеют силы, если не считать того, что день по-прежнему сменяется ночью. Когда больше не обязательно утром вставать, а вечером ложиться спать, не обязательно завтракать, обедать, и вечером ужинать, когда больше не обязательно с двух до четырех или с четырнадцати до шестнадцати заступать на пост, не обязательно идти в семь на поверку, а в полночь может не петь Лала Андерсен, — когда все это становится необязательным, трудно определенно сказать, который час. И если к тому же предположить, что было воскресное утро, когда, вместо того чтобы, сидя в церкви, петь хвалу Господу Богу, я застрелил кашевара, и если только и помнишь, что стояло яркое зимнее утро, когда я, через силу, жрал снег, и если представить себе, что могут пройти еще месяцы без тепла жарко натопленной печки, тогда вовсе не важно, в котором часу ты улегся под кровать

польского крестьянина, ибо только что раздался стук в дверь.

Важно одно: стук действительно был. Это оказалось достаточно важным для того, чтобы кубарем скатиться с табурета в укрытие.

Стучали гулко, словно в морскую раковину, — укрыться бы в ней, в самом дальнем ее завитке, забиться бы в самую узкую щель самой глубокой пещеры, зарыться бы в борозды рыхлой пахотной земли или хотя бы в пыль, а-а-а, в эту спасительную, все покрывающую пыль!

Все, все было против правил. Против правил, записанных в уставе и в эпосах. Во вражеском стане не садятся за вражеский стол жрать, забыв обо всем, кроме жратвы. Не думают о сне, не подумав сперва о безопасности. Крестьянина и его жену, если ты оказался с ними один на один, предварительно сунув им под нос дуло, запирают в чулан, еще лучше заткнуть им рот кляпом, вот тогда и навернуть можно: лицо к двери, дуло к двери, рука на бойке и лишь другая на куске сала. Так живут по книгам, в противном случае живут недолго. А когда раздается стук в дверь, не забиваются тотчас под кровать. Сперва разведка, потом укрытие. А что можно разведать из-под кровати? Там остаются лишь одни ощущения, какая уж тут война. Так вот, если раздается стук в дверь, и именно в такой ситуации, нахлобучивай шлем на голову, вскидывай ружье и кричи, словно клейстовский всадник: «Входи, коли ты не портняжка!» И если то не портняжка, а вооруженный воин, обрушивайся на него огнем и мечом, если же их много, таких вооруженных воинов, тем паче обрушивайся на них огнем и мечом и восклицай при этом, как шиллеровский гусар: «Живым я вам не дамся, собаки!» Считай выстрелы и непременно думай: «Последнюю себе, ах ты моя смуглянка!»

Но под кровать не лезут. Я же залез под кровать.

Собственно говоря, я должен был изловить их гораздо раньше, моих врагов, и вовсе не здесь — чуть южнее Коло, я должен был гораздо раньше отбросить их назад, за Урал для начала. Я нарушил устав задолго до того, как бросился под кровать.

Вместо того чтобы победить врага, я дал тягу, и — лишь потому, что они стреляли в меня. Вместо того чтобы заботиться о нашем великом общем деле, я на все смотрел со своей колокольни. Я думал о собственной шкуре, вслушивался в урчанье своего желудка, разглядывал свои ступни, потому что они, видите ли, обморожены. И в кашевара-то я выстрелил лишь для того, чтобы он не выстрелил в меня. Я, мое, моя, меня. Уйдя с головой в себя, я забыл, что врагам место за Уралом, а мне не место под кроватью польского крестьянина.

Тем не менее я лежал там, вытянув вперед руки, ладонями вниз, слегка вывернув ноги, так что сапоги упирались внутренним рантом в пол. Глаза я держал открытыми; и посейчас помню торчащую из матраца пружину в светлом квадрате, отбрасываемом прикрученной более чем наполовину керосиновой лампой; я помню и эту пружину, и жир вперемешку с пылью в углах рта, и затвор, упирающийся в бедро. Еще вспоминается мне, как хорошо я все слышал. Мое здоровое ухо, левое, прижималось к галстуку, но я и другим ухом слышал очень хорошо. Женщина кричала, кричала как заводная, и все только по-польски; а я-то поначалу почел ее глухой. Мужчина кричал в дверь, это он орал по-польски, и орал мне что-то под кровать, это уже по-немецки. Вылезай, орал он мне, захлебываясь словами, а в дверь он орал, как я понял, что я уже вылезаю, пусть погодят стрелять, он же видит, я уже почти вылез, и это он кричал, тоже захлебываясь словами.

Не стану уверять, будто до этого он с особым доброжелательством разговаривал со мной, хотя причин на то у него не было: я уже хотел было уходить. Кому охота увидеть какого-то типа под собственной кроватью? Кому охота увидеть какого-то типа с ружьем на собственном пороге? А он впустил меня, без особого доброжелательства, правда, но решительно.

Должно быть, на эту решимость его толкнул мой вид: окутанный тьмой, с едва пробивающейся бородкой, выпачканной грязью, с немецкой штурмовой винтовкой. Штурмовая винтовка предназначена для штурма. Она мало весит, проста в обращении, надежна, и надежный человек весьма ловко с ней управляется. Что касается ненадежного, позабывшего и устав и правила, оттого что его вовремя не кормили, и уже много дней, то такой человек управляется с немецким автоматом еще ловчее, и кто застает его на своем пороге ровно в полночь в войну, тот помнит устав: такого рода людей надо без промедления пустить к себе в дом.

Человек, без промедления пустивший меня к себе в дом, кричал теперь что-то в дверь; должно быть, он готов, тоже без промедления, выпустить меня обратно и излагал мне под кровать свои доводы: их там полным-полно, и оружия у них полно, а пришли они вовсе не за ним и даже не за салом, они пришли за мной, за мной, все еще лежащим под его кроватью.

Кажется, он упомянул слово «стрелять»; те, за дверью, упомянули, как крестьянину показалось.

В этом я не усомнился. Все мы тогда весьма часто упоминали это слово. Все мы тогда редко ограничивались одним его упоминанием. И правило, повелевающее сперва выкрикнуть: «Стой! Стрелять буду!» — а уж потом выстрелить, это правило

потеряло силу. Теперь просто стреляли, что предельно ускоряло процедуру; тут хочешь не хочешь — остановишься.

Только вот целиться надо было хорошо. Кашевар, которого я застрелил, целился плохо. Выйдя из бункера, он меня увидел, схватился за автомат, прицелился — левая рука на стволе перед барабаном, правая на шейке приклада — и давай палить по мне. По мне, опаленному другим огнем, дым от которого наплывал на меня, волнами пробегая по отполированному солнцем снегу: бобы, о господи, бобы, и жареный лук, сало и лук-порей — и это среди жестокого зимнего голода, долгого, как ночи, дни, километры, как сама дорога отступления.

И вот меня, объятого приправленным снегом голодом, атаковали запахи порея и бобов; мной завладело виденье: я увидел высокую бобовую гору с громоздящейся на ней башней из лука, дольки которого лоснились от жира, но тут появляется в дверях злой кашевар, в дверях появляется солдат в белой куртке и стреляет в мое виденье.

Тогда я выстрелил в его белую куртку. Мне было тогда восемнадцать лет.

Некто бежит по зимнему лесу, некто знает: тысяча кашеваров сторожит солдатскую кашу, тысяча кашеваров мстит за смерть одного кашевара, тысяча кашеваров отбрасывает половники и хватается за оружие, когда пули свистят над плитой.

Некто бежит по лесу и не замечает в бору косулю, и не любуется Единорогом, и не слышит громкого «уху» филина, и не внимает пению эльфов.

Я бежал. Как долго — не знаю. Куда — не знаю. Как — не знаю. Как бегут на седьмой день семидневного побега? Как бегут после семидневного голода? Как бегут, когда под черной грязью пальцы черны от мороза?

Если на то есть причина, бегут. Мертвый кашевар за спиной — это множество причин. Мертвый кашевар здорово подгоняет. И я бежал.

Останавливался ли я? Разумеется, останавливался — по мере необходимости; в книгах это называется «у него подкашивались ноги». У меня подкосились ноги, и я остановился в канаве; подле меня из-под снега что-то торчало: надорванный мешок цемента, неразмешанного, затвердевшего цемента. И как нас сюда занесло?

Остановился я и в курятнике на колесах; там, в углу, вздымалась соломенная гора, две охапки загаженной соломы, куда я и зарылся; если кашевары займутся курами, я в безопасности.

Еще я остановился на проволоке, повис на ней, самой верхней в проволочном заграждении; правда, без колючек. А хоть

бы и колючки, все равно остановился бы: выхода не было.

Я бежал по лесу до поздней ночи. От глубокого снега у меня буквально отнимались ноги. И я останавливался — там, где меня останавливало. Меня нигде не останавливало надолго. Я нигде надолго не задерживался.

Так я добрался до хаты, до дома, до замка, до крепости. До крепости, до этой вот крепости, до стола, до тарелки. Залез под кровать. И вот я лежал внизу, а еще только что сидел наверху. На табурете, на троне. Держал вилку, как скипетр. Рыгал, точно король. Забыл о своем войске, которое и думать обо мне забыло; забыл о вражеском войске, да оно-то меня не забыло! Давал показания вопреки уставу, королевскому и армейскому.

— Немец?

— Да.

— Один?

— Да.

— И давно?

— Пожалуй, да.

— Почему так?

— Пришли те, и мы побежали; сперва нас было много, потом стало поменьше, потом опять больше, потом все меньше и меньше, и, наконец, я один.

— Куда же делись остальные?

— Остались на снегу, на снегу остались; выстрел пониже пупка, выстрел в селезенку навылет, выстрел в ухо. Одному всего лишь раздробило колено: рванул ручную гранату, а потом это выглядело так, будто он к ней прислушивается.

— А по врагу, когда он в вас стрелял, что же, по врагу вы уже не стреляли?

— Почему же, стреляли, как и положено. Сперва мы стреляли очень много. После уже не так много. Один раз, это когда уже все было потеряно, мы, защищаясь, еще постреляли.

— Защищаясь?

— Да, когда те в тумане взяли нас в кольцо: ну, мы и стреляли, а потом те ушли. Дальше я уже шел один.

— И часто еще приходилось тебе так защищаться?

— Случалось, — сказал я и подсунул под тарелку рукоятку автомата, а в тарелке еще были остатки сала, и хлеб еще был, и я ничего не сказал крестьянину о кашеваре.

Тогда другие пришли, чтобы сказать об этом.

Раздался стук в дверь. Словно застучали копыта. Словно бабахнул молот. Триста кашеваров барабанили тремястами скалок. Триста монгольских лошадок зацокали по брусчатке. Кто-то выпустил три тысячи лошадиных сил против крестьянских,

против моих дверей. Второй украинский фронт весь разом двинул кулаком по нашим дверям. Тогда я схватил пустую тарелку и до отказу набитый пулями автомат и швырнул тарелку, автомат и самого себя под крестьянскую кровать.

Чем погрешил против множества правил: против правила, как обращаться с тарелками, против правила, как обращаться с немецким автоматом, против правила, как обращаться с врагом и с самим собой. И было удивительно, что я недвижно лежал, чувствуя во рту вкус сала и пыли, на бедре железный затвор; прижав щеку к галстуку, сытый, пропуская все мимо ушей, лежал под крестьянской кроватью чуть южнее шоссе, идущего от Конина в Кутно, зимней ночью, в войну.

Но самое удивительное, что я встал, когда крестьянин крикнул мне: «Встать!»

Затем направился к двери. А затем поднял вверх руки.

Перевод Л. Бару.

Ганс Георг Литц
ГРАУШИММЕЛЬ

Граушиммель заявил, что пора бросать повозки. Было часов около пяти, солнце еще не взошло, но небо у горизонта посветлело. Граушиммель уже порядком нализался. Он пил все дни напролет, да и ночи прихватывал, но все же неплохо держался на ногах, и язык у него не заплетался. Каждые двадцать километров он останавливал весь обоз и наливал себе полную флягу. И все же тридцатилитровую бутыль с ромом ему так и не удалось опорожнить.

Он все пил и пил, уставясь мутным взглядом в никуда, и почти не раскрывал рта, а когда над нами на бреющем полете проносились штурмовики и все мы сломя голову кидались в кювет, он преспокойно восседал на козлах, — не потому, что искал смерти или не понимал происходящего, а просто рассуждал самым естественным для себя образом. Примерно так: где лошади, там и я. Или: если уж суждено, то достанет и там, в кювете, где вы трясетесь от страха, как овечьи хвосты.

Он вливал в себя ром в таких количествах, словно хотел наверстать упущенное за долгие годы или же напиться про запас на долгие годы; но и на десятый день у него еще и руки не дрожали. Он набирал ром из большой бутылки во флягу, не проливая ни капли.

И тут Граушиммель велел взять вещмешки побольше и набить их лучшим из того, что было в повозках.

— До самого верху, — сказал он, — да поплотнее, чтобы ни грамма зря не бросать, хоть в три погибели согнетесь, а потащите. — Но ерунды не брать, — добавил он, — только самое нужное: сало, галеты и консервы, не забыть соль и муку, ну, можно прихватить и килограмм-другой сахару.

Нас было пятеро на четырех обозных повозках, и только один Граушиммель пил, но лишь он один из всех нас соображал, что нам делать дальше.

— До Эльбы нам не доехать, — сказал он.

И когда мы, нагрузив на себя тяжеленные вещмешки, направились было тем же путем дальше, он заставил нас свернуть с дороги в поле, на зеленый и мягкий ковер из нежных ростков то ли ржи, то ли пшеницы, и мы потащились по нему, топча его сапогами. Тут Граушиммель произнес связную фразу, — такого не случалось ни разу за все последние дни:

— Если не пойдем напрямки, кончится тем, что иван нас все-

таки сцапает.

Он здорово соображал и все видел, хоть и был пьян в стельку, — это он заметил грязно-зеленые Т-34, грозным строем выползавшие с поля на шоссе.

Но мы не стали оглядываться; Граушиммель был нашим вожаком, которому мы вверили себя и свою судьбу, он твердо шагал по нежным стебелькам ржи (или то была пшеница?) и держался очень прямо, как, пожалуй, никогда прежде.

Наше бегство послужило сигналом для всей колонны на шоссе. Теперь поле, казавшееся мне только что пустынным и бесконечным, кишело людьми. И поэтому я не сразу заметил чужих солдат, которые словно выросли из-под земли и вдруг оказались и перед нами, и среди нас, энергично жестикулируя и ругаясь на языке, похожем на наш и все же совершенно непонятном. Чужих солдат, которые ощупывали наши запястья и жадно осматривали наши пальцы, не выпуская из рук автоматов, явно мешавших им в этом деле, — солдат в куртках цвета хаки и касках, так непохожих на наши. И все же это были солдаты, хоть они и не кричали: «Hands up!» — или: «Руки вверх!» — а только спрашивали: «Часы? Кольца?» Но вот они уже позади, и даже пистолеты остались при нас, а уж за вещмешки наши мы держались так цепко, словно намертво срослись с ними. В деревне, куда мы пришли, тоже никто не спросил про оружие. Солдаты, размещавшиеся там, хмуро глядели на нас, сдвинув каски на затылок. Безостановочно двигая челюстями, они время от времени негромко и слегка гнусавя командовали: «Two by two!»[7]

Только теперь Граушиммель оглянулся, ища нас глазами, но мы следовали за ним по пятам, точно овцы за своим бараном; поскольку Граушиммель не знал английский и не понял команды, здоровенный негр пнул его ногой в зад так, что он, сразу потеряв свою самоуверенность, заковылял и стал в строй, но не двинулся дальше, пока мы не присоединились к нему.

Так мы и потопали, two by two, навьюченные неподъемными вещмешками, слегка нервничая и изнемогая от усталости, и пришли в огромный лагерь, который производил унылое и жалкое впечатление, но в котором, как мы были наслышаны от Граушиммеля, нас ожидали сигареты «Кэмел», печенье, шоколад и говяжья тушенка; поэтому мы ничуть не испугались, увидев большие вышки с торчащими из них стволами пулеметов.

Я свалился и проспал почти до самого вечера. Проснулся я в какой-то канаве между ящиками и мешками с соломой, разбитыми грузовиками и кучами тряпья; я не чувствовал ни жестких комьев под собой, ни озноба от сна на голой земле, и,

проспав добрых десять или двенадцать часов кряду, проснулся от приглушенных голосов людей, беседовавших о чем-то прямо над моей головой, и, уставившись спросонья в незнакомые лица, долго не мог очнуться и сообразить, где я нахожусь; но потом вдруг сразу пришел в себя.

Как-никак мне было только шестнадцать лет, я был любознателен и неопытен, для меня начиналась новая жизнь под надежной защитой Граушиммеля, нашего вождя и наставника.

Человек, на которого сразу упал мой взгляд, вовсе не смотрел в мою сторону. Он был намного старше меня, так что-нибудь под тридцать, и выглядел вконец опустившимся, — оборванный, небритый, ни дать ни взять бродяга или нищий. Но что-то противоречило этому первому впечатлению. Я ощутил это чисто инстинктивно, пока растерянно оглядывал всех, столпившихся вокруг. Потом, проснувшись окончательно, я перевел взгляд с его лица, в котором не обнаружил ничего примечательного, на его руки, и тут только до меня дошло, что именно поразило меня при пробуждении.

Человек этот, — по званию он был унтер-офицер, я и это только теперь заметил, — считал деньги; то есть нет, он их, собственно, не считал, а только складывал стопкой десять или двенадцать сотенных, а потом брал всю пачку и рвал пополам, — вот так просто брал в руки больше тысячи марок и разрывал пополам, а потом равнодушно и безучастно отшвыривал клочки в сторону, под ноги мне и другим, и когда я изумленно уставился на него, не обратил на меня ни малейшего внимания.

Я не выдержал и спросил, — я уже знал, что все кончено, хоть в эту минуту и не было рядом Граушиммеля, я спросил, и мой вопрос прозвучал, наверно, очень наивно: «Зачем вы рвете деньги? Это же целое состояние!»

В ту же секунду я понял, что слово «состояние» звучит в этой ситуации более чем неуместно и что мне не стоило лезть со своими суждениями, а еще лучше было бы вообще воздержаться от всяких вопросов. Однако унтер-офицер услышал мои слова и ответил, вяло, даже как-то лениво: «Хочешь, тебе отдам?» Тут уж я совсем растерялся и не нашелся, что сказать. Деньги? Что уж тут, мой отец зарабатывал всего семьдесят марок в месяц, мое солдатское жалованье составляло тридцать марок, мать платила за квартиру двадцать, денег у нас в семье всегда было в обрез. И вот теперь я лежал на голой земле, не чувствуя ни холода, ни жесткости своего ложа. Я чувствовал только, что деньги, некогда столь желанные, вдруг потеряли в моих глазах былую ценность, и все же я не мог спокойно смотреть, как их рвут и швыряют на землю.

Я не потянулся за деньгами, и унтер-офицер криво усмехнулся.

— То-то и оно, — процедил он. — Тебе их тоже и даром не надо.

И стал складывать новую стопку, аккуратно выравнивая края, потом взглянул на меня насмешливо и выжидательно и перервал новую пачку пополам.

— Были бы размером побольше, — вяло заметил он, — так хоть для сортира сгодились бы.

В этот момент к нам подошел Граушиммель. Он уже успел облазить все углы в лагере, который назывался на их языке camp, и «организовал» массу всевозможных вещей. Он искоса посмотрел на унтер-офицера, как бы сомневаясь в его рассудке.

— Чего смотришь? Хочешь — бери! — сказал унтер-офицер и протянул ему только что сложенную пачку.

Граушиммель тут же схватил ее и мгновенно сунул в карман мундира.

— И много у тебя этого добра? — спросил он.

Унтер-офицер потянулся к полевой сумке, лежавшей на земле рядом с ним, открыл ее двумя пальцами и, брезгливо поморщившись, высыпал Граушиммелю под ноги целый ворох банкнот.

— Ну как, хватит с тебя? — спросил он, усмехнувшись.

Граушиммель сразу бросил наземь сверток, который до этого крепко прижимал к боку локтем, нагнулся и стал быстро-быстро подбирать банкноты, чтобы их не унесло ветром. Он запихивал бумажки в карманы мундира, а набив их до отказа, стал совать деньги в карманы брюк, и делал все это быстро, но без жадности. На унтер-офицера он больше и не взглянул.

— А штаны-то у тебя поистрепались, — обернулся он ко мне. Глаза у него все еще были мутные. Он, видимо, так и не ложился спать, а вот о штанах для меня подумал. И бросил мне новенькие, с иголочки, синие брюки.

— А ну-ка, разведи руки в стороны! — велел он. И я убедился, что брюки мне в самый раз.

Уже наступил вечер, а о нас как будто и думать забыли. Весь день в лагерь прибывали пленные большими и маленькими группами, приходили и по двое, а то и поодиночке, и лишь очень немногие из них оказались такими запасливыми, как мы, — благодаря Граушиммелю. Наконец мы поставили общую палатку (Граушиммель в свое время проследил, чтобы каждый захватил с собой плащ-палатку и одеяло), улеглись поближе друг к другу и, подложив в изголовье вещмешки, заснули, но спали на этот раз плохо и видели дурные сны.

И на следующий день никто из американских солдат так и не появился в лагере, то же самое повторилось и через день. Но они не пожалели колючей проволоки, чтобы сделать ограждение повыше и погуще, и построили несколько новых вышек. А пленным милостиво разрешили брать питьевую воду из ручья. О том, чтобы помыться или постирать, нечего было и думать. Мало-помалу мы начали сомневаться в пророчествах Граушиммеля насчет печенья и тушенки, а уж о сигаретах и шоколаде и не помышляли. Солдаты, пришедшие в лагерь поодиночке, устраивались на ночлег, выкопав каждый себе небольшую нору. У большинства не было ни одеял, ни еды. На третий день мы уже хоронили первых умерших в лагере. Никто не подумал даже вынуть у них из карманов солдатские книжки. Граушиммель высказался было в том смысле, что надо бы посыпать трупы хлоркой, но достать ее было не легче, чем миску горячего супа.

На четвертый день в лагере был съеден последний стебель крапивы. Мы успели-таки ею поживиться, поскольку Граушиммель уже на второй день погнал нас за ней, хотя наши вещмешки еще лопались от припасов. Теперь же мы просто слонялись по лагерю, высматривая, не найдется ли где немного хвороста или дровишек для костра.

В полдень мы со скуки завалились спать в палатке и как по команде, разом высунулись из нее, услышав сквозь дремоту пистолетные выстрелы, хотя нам бы, наверно, следовало спрятаться подальше. Но мы уже пять дней не слышали ни одного выстрела, и, кроме приготовления пищи и дежурства по палатке, нам нечем было заполнить пустоту тусклого и однообразного существования. Мы увидели, что пленные толпами сбегаются к вышке, откуда доносилась стрельба. Это показалось нам странным, потому что у нас уже вошло в привычку, заслышав выстрелы, бежать куда-нибудь подальше. А пленные наоборот, сбегались на выстрелы, и тогда мы решили сходить и посмотреть, что происходит.

Граушиммель вскочил первым. Не забыв назначить дежурного по палатке, он со всех ног бросился к ограждению, намного обставив нас всех, словно был уверен, что там будет, чем разжиться. Когда мы подбежали, собралась уже такая густая толпа, что мы ничего не могли толком разглядеть, как ни вытягивали шеи. По ту сторону колючей проволоки, стоя прямо посреди поля, два любителя жевательной резинки палили как полоумные куда-то в сторону, а нам было не видно, во что же они, собственно, стреляют, и мы решили, что они просто тренируются в стрельбе по цели, избрав мишенью большие валуны метрах в пятидесяти от них.

Но потом мы заметили, что один из серых камней задергался, парни подошли к нему и подняли его, и тогда все увидели, что это заяц — да такой большой, что казалось, когда его держали вот так, на весу, будто он был никак не меньше полутора метров в длину. Американцы поднесли зайца к проволочному ограждению, ухмыляясь и не переставая жевать свою жвачку, но не говорили ни слова. Пленные, стоявшие ближе всех к забору, заволновались. Тут я наконец увидел и Граушиммеля. Он сумел протолкаться к самой проволоке, и мне показалось, что он сунул руку в карман брюк и вытащил пачку банкнот.

Остальные тоже стали рыться в карманах, и хотя деньги мало у кого нашлись, зато многие вытащили и протянули американцам кто кольцо, кто часы, кто фотоаппарат, а кто и золотые коронки или ордена и даже разные женские украшения — кулоны, браслеты, серьги, — в общем, целое состояние.

Американцы подошли вплотную к проволоке, подняли зайца над головами, и он показался всем еще длиннее. А те все ухмылялись и посматривали чуть ли не презрительно на то, что предлагали им за этого заморыша, за тощего и вконец загнанного майского зайца.

Тут уже поднялся гвалт, — сперва раздались отдельные приглушенные, робкие выкрики, потом все более громкие и даже требовательные. Мы знали, что многие из пленных вот уже пять дней жили на одной воде, и нам стало как-то неловко при мысли о наших вещмешках; но, увидев, что Граушиммель вылез вперед со своей пачкой денег и кричал так же надрывно, как те, что буквально умирали от голода, я готов был сгореть со стыда.

Американцы перебросились несколькими фразами. Мы их не поняли. Говорили они тихо, почти шепотом, продолжая при этом жевать и ухмыляться.

Среди пленных вновь началась толкотня. Сзади напирали, стараясь протиснуться вперед. Кто был посильнее, бесцеремонно отпихивал в сторону более слабых. При этом некоторых свалили с ног, и толпа сомкнулась над ними. У других выбили из рук кольца и часы. Никто не обратил на это внимания. Взгляды всех были прикованы к зайцу, Каждый старался пробиться поближе к нему.

Вдруг американец швырнул зайца через забор. Тощая тушка, крутясь, пролетела над частоколом протянутых рук и шмякнулась о землю где-то позади толпы. Пленные, совсем не ожидавшие такого оборота дела, на какой-то миг замерли, растерянно уставившись в довольные лица американцев, а потом рванулись назад. Мы едва успели отскочить в сторону, как на зайца набросились сразу несколько человек. Один схватил его, другой

вырвал, тут подоспел третий, за ним четвертый, пятый, а потом уж все вцепились в несчастного зайца.

Борьба длилась недолго и кончилась вничью. За несколько секунд они в клочья разорвали этого жалкого заморыша и понуро потащились к своим норам, обмениваясь взглядами, полными ненависти, но в то же время и стыда.

Граушиммель тоже смущенно улыбался, когда подошел к нам, еще не остыв от схватки и не успев привести в порядок свою одежду.

— Ну, невелика потеря, — сказал он. — И слава богу, деньги целее будут.

Но было видно, как разбирает его досада из-за того, что так и не удастся отведать зайчатинки. За ужином он ел без аппетита и привередничал.

— Вот бы картошки раздобыть, — ныл он.

Около нашей палатки маячили полуживые от голода и готовые на все люди, а Граушиммель требовал картошки.

Когда совсем стемнело, он опять вытащил из кармана пачку денег.

— Лучше всего, если пойдет кто-нибудь один, — глухо сказал он.

Он взглянул на меня, и мне пришли на ум и вещмешки, и новые брюки; я молча встал и сунул деньги в карман.

Граушиммель еще днем присмотрел это место. Рядом росло несколько искривленных сосен, прикрывавших кусок проволочного ограждения от света прожекторов.

И я пополз по-пластунски, как был обучен в доблестном вермахте, в полном соответствии с уставом. Под проволокой я пролез без труда, а выбравшись наружу, даже подивился, почему это другие пленные подыхают с голоду в лагере и не догадываются удрать через эту дыру. Когда луч прожектора падал на меня, я застывал на месте и как бы вжимался в землю. Только в двухстах метрах от проволочного ограждения я решился приподнять голову. Вокруг все было тихо. Я встал и зашагал по направлению к деревне, которую днем было видно из лагеря. Шел я, слегка пригнувшись и наклонясь вперед, — так, чтобы в любой момент броситься на землю и замереть, превратившись в выступающий из-под земли корень, кучу гнилой соломы или большой голубовато-серый валун.

За домом, к которому я направился по задам, через огороды, меня поджидал пес — тварь подлейшей повадки. Он подпустил меня поближе, а потом бросился, пытаясь сразу тяпнуть за ногу. Он даже не лаял, только шумно дышал, и его янтарные глаза горели в лунном свете. Я пнул его сапогом в бок. Удар был

точный и сильный, но пес не взвыл, только стал дышать чаще и тяжелее и немного отстал от меня.

А я мигом взлетел на крыльцо и стал спиной к двери, — так удобнее было защищаться, потому что проклятая шавка опять норовила цапнуть меня за ногу. В этой позиции мне удобно было время от времени отпихивать ее морду носком сапога.

Дверь дома отворилась так неслышно, что я чуть было не упал в объятия хозяина. Псина воспользовалась этим, чтобы вонзить зубы в голенище моего сапога. Она убралась, только когда крестьянин наклонился за камнем.

Долго торговаться не пришлось. Я дал крестьянину двести марок, и он насыпал мне в мешок картошки — так килограммов пятнадцать. И только когда я спросил еще и табаку, он стал жаться. Я опять вытащил из кармана пачку денег, но это не подействовало. В конце концов пришлось снять с руки часы, но крестьянин, этот поганый хозяйчик, — послушать их, так они все с хлеба на воду перебиваются, — и тут не сдался. Нацепив на нос очки, он долго разглядывал часы, держа их в вытянутой руке, потом приложил их к уху, потряс немного, прочитал надпись на никелированной крышке и протянул их обратно. Мне сразу вспомнился Граушиммель, вспомнились и вещмешки, и новые брюки, — всплыл, правда, на миг и заяц, но только на миг, и тогда я начал плести что-то насчет часов, что они-де швейцарской работы, на двадцати пяти камнях и будут ходить еще сто лет без ремонта, добавив, что я и на полфунта табаку согласен, только чтоб был хорошо просушен, это уж обязательно.

Может, крестьянин решил, что от меня не отвяжешься, а может, боялся американцев. Во всяком случае, он сунул руку в духовку, вынул оттуда несколько бурых листьев и протянул их мне. Я не шевельнулся; тогда он добавил еще несколько штук и стал подталкивать меня к выходу. Часы он уже успел упрятать в карман.

Я ничуть не горевал о них. Пять дней назад я нашел их в кармане тех самых штанов, что дал мне Граушиммель. Я никому ни словечком о них не обмолвился. Этот сюрприз я приберегал до поры до времени. Теперь это время пришло.

Та псина все еще торчала у дверей. Она не сводила с меня злобного взгляда и преследовала по пятам, пока я не перелез через ограду.

Граушиммель ждал возле сосен, он взял у меня из рук мешок с картошкой и одобрительно похлопал по плечу. Но больше всего он обрадовался при виде табака. В награду я получил за обедом добавку.

В тот день Граушиммель, беспрестанно слонявшийся по

лагерю, принес очередную новость. До этого дня мы верили всем слухам, даже такому дикому: что, мол, американцы собираются объединиться с немцами и вместе пойти против русских и что уже создаются такие добровольческие корпуса, — всему, ну буквально всему мы верили; однако этот последний слух, хотя, — или, вернее, именно потому, что он был наиболее правдоподобным, — показался нам сомнительным. Говорили, будто фельдмаршал Кейтель подписал в Берлине капитуляцию. Граушиммель уже разузнал и детали: фельдмаршал был в белых перчатках, ни на минуту не выпускал из рук своего маршальского жезла, держался прямо и гордо: старая прусская школа, — дескать, побежден, но не сломлен, — чем будто бы внушил генералам противника величайшее уважение.

Не успел Граушиммель до конца расписать всю эту историю, как уже пронесся новый слух: на берегу ручья поставили три старые полевые кухни немецкого образца и теперь, на шестой день, нам впервые дадут горячего варева. У Граушиммеля тут же вылетели из головы все остальные подробности капитуляции. Он сделал мне знак, и мы зашагали к соснам у ручья, от которых к лагерю тянулись три тоненькие струйки дыма.

— Неужто это правда, насчет капитуляции? — спросил я у него.

— Ясное дело, — ответил он. — Отвоевались.

— Наконец-то мир! — воскликнул я.

— Дерьмовый мир, — бросил Граушиммель. Он сердито топал рядом со мной по тропке. — Тебе-то что за радость? Загонят теперь в лагеря, и будешь вкалывать лет десять, а то и все двадцать. Ну, ты еще молодой, может, и выживешь.

— А ведь говорили, что… — начал было я.

Но Граушиммель оборвал меня на полуслове.

— Брехня всё, — заявил он. — Чистая брехня. — Теперь они поступят с нами так, как мы поступали с ними.

Я был не очень-то склонен верить Граушиммелю. Ведь однажды он уже попал впросак со своими пророчествами насчет печенья и тушенки; тем не менее я чувствовал, что в его словах была логика. Мне просто не хотелось ему верить, поскольку эти двадцать лет лагерей затрагивали и меня лично.

Беседуя, мы время от времени поглядывали вперед, туда, где под соснами уже толпились пленные, а вообще-то смотрели только друг на друга, а не по сторонам. Но потом оказалось, что сбоку у тропки стоял какой-то капитан, которого мы и не заметили. По всей вероятности, он замер от удивления, проводил нас взглядом и вдруг заорал, — да так, что мы вздрогнули:

— А ну-ка вернитесь!

Я почти машинально повернулся кругом, чтобы выполнить приказ капитана, — въелось это в меня за время службы, но тут Граушиммель ухватил меня за рукав. Он и не думал трогаться с места и глядел на капитана так, как прошлой ночью на меня глядел тот пес. Капитана немного смутил этот взгляд, тем не менее он подошел к нам сам. Его голос звучал уже совсем не так уверенно, чуть ли не просительно, когда он обратился к Граушиммелю:

— Штабс-ефрейтор, как вам должно быть известно, здесь, в лагере, тоже положено отдавать честь старшим по званию. Разве вы не понимаете, что, распускаясь до такой степени, вы бросаете тень на репутацию немецкого солдата?

Граушиммель ничего не ответил.

Тогда капитан сказал:

— Ну-ка живо, — вернитесь и пройдите как следует!

Лучше бы он этого не говорил. Граушиммель резко и сильно ударил его кулаком в лицо. Удар пришелся по носу. Капитан и не пытался защищаться. Он как-то растерянно огляделся по сторонам, вытащил носовой платок и прижал его к носу. Платок вмиг пропитался кровью. Но Граушиммель опять подскочил к капитану и сорвал у него погоны с плеч. Капитан и тут не сопротивлялся. Он только грустно посмотрел на серебряные полоски, которые Граушиммель швырнул ему под ноги.

— Дерьмовый мир, — повторил Граушиммель, вновь зашагав к соснам.

— На двадцать лет? — спросил я. Никак не хотелось верить.

— А черт его знает, — ответил Граушиммель. — Может, и десятью обойдется.

Это прозвучало так, будто он хотел меня утешить.

— А что нам придется делать эти десять лет, как ты думаешь? — не унимался я. — Может, нас в цепи закуют, а?

Граушиммель взглянул на меня в раздумье. Он немного замедлил шаг, хотя не мог не видеть, что к кухням со всех сторон сбегаются пленные.

А потом сказал очень тихо:

— Что делать-то придется? А что всегда приходится делать людям, когда война кончается: сперва убрать все то, что мы разворотили за эти годы.

Перевод Е. Михелевич.

Макс Вальтер Шульц
НЕИЗЪЯСНИМЫЙ СВЕТ В ГАРАЖЕ

— По шоссе до дощатой ограды с рекламой «Шультхейс-Паценхофер» — всего каких-то полкилометра…

— А неплохое у них пивцо, верно?

— Ты когда-нибудь слыхал о дистанции жажды?

— Что ж, двинули, камрады, сограждане, римляне, и никаких шмоток с собой! Прочь из укрытия! И поднимите руки, кому пивка охота!

— Предатели!

— Сверхидиот! Айда все!

Пятьдесят человек выбрались из укрытия. И чудо произошло: ничего не произошло! Все было спокойно и здесь и там! И только полевые жаворонки подняли несусветный гомон. Кто-то грянул: «Мы с песнею потопали в ближайший ресторан…» Это придало нам храбрости, подняло настроение. Да и погода, словно по заказу, ну прямо для холостяцкого пикника. Апрельское солнце над правыми и неправыми, — три, четыре: «Там, где пиво льется, песня раздается, эх, красота…» И как раз на «красоте» певец захлебнулся и упал как подкошенный. Другие тоже. Я увидел вдруг свое кепи, оно взмыло в воздух. Только это открыло мне чудовищный смысл удара этих убийц. Наши дорогие камрады салютовали нашей стачке залпами батарей. По перебежчикам — где это сказано? — палить картечью. Порядок, камрады, вы гады подлые! На положении последнего дерьма умирается легко… Расстреляли — и лежи себе спокойненько, взятки гладки… А по тебе то ли шарят руки, то ли ползают муравьи. Муравьи так и впиваются в тело.

Какие-то штатские установили смерть большинства расстрелянных и сволокли их в подземный гараж. На холодном цементном полу отгорело последнее дерьмо. А затем наступило Ничто. Оно продолжалось, как было потом установлено, почти три дня. А затем единственный незабываемый миг: уничтожение Ничто, распахнутая настежь створка надземных ворот гаража, и свет, неизъяснимый свет, водянисто-голубоватый, пастельный, волна за волною. И с ним тепло — словно бы подводной струей. Она отмыла одну только мысль: жажда. И женщина во всем черном, стоявшая наверху, в проеме ворот, крикнула: «Да ведь там один еще живой…»

Можно ли тот услышанный крик назвать сегодня первым мигом свободы? Что же мог осознать его услышавший? Да ничего,

разве что он принялся ощупывать ледяной равнодушный цементный пол с какой-то даже нежностью. И разве что, распростертый во всю длину, вконец измочаленный, жалкий, ограбленный до нитки — не иначе как теми же соперебежчиками — и жадно впивая свет, он, остатний кусочек человека, вдруг со всей ясностью понял то, чего не мог еще знать: война кончилась.

Женщина спустилась вниз и, став на колени и подложив ему под голову руку, сказала, что бояться больше нечего. Сказала ему это в неизъяснимом свете. Радуясь свободе, я радовался жизни, не знающей страха. Пробудившийся кусочек человека, я осознал это в тот самый миг.

Перевод Р. Гальпериной.

Юрий Брезан
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

1

Генерал, крестьянин и дама

У первого часа немало обличий и минут, есть чему посмеяться и над чем поплакать, — смешных, трагических, неимоверных, повседневных, — попробуй тут переворошить и приладить все так, чтобы получилась картина сплошного благовеста и фанфар; а как же быть с последним убитым по чистейшему недоразумению или же с тем обстоятельством, что в нижнебаварском крестьянском доме женщина гадает на картах четырнадцати эсэсовцам, — единственное, в силу чего некоему человеку, моему тезке, удается избежать фрейзлерова топора или, на худой конец, вульгарной веревки штурмовика.

Мой тезка: ибо могу ли я утверждать, что и был тем обер-ефрейтором, коему генерал-полковник Х. на командном пункте своей дивизии — последней действующей истребительной дивизии — повелел 25 апреля к десяти утра явиться к нему на квартиру, где и показал переданный по радио приказ чрезвычайного «народного» суда об аресте и принудительной доставке к месту назначения оного обер-ефрейтора, а заодно и пояснил, что сочтет себя обязанным арестовать его и выдать властям, если оный обер-ефрейтор завтра еще будет обретаться в этих местах.

Я — если, конечно, я и был тот обер-ефрейтор — без паники уложил самое ценное свое достояние, ни мало, ни много два начатых романа и черновую тетрадь со стихами, лучшими из когда-либо мною написанных, как упрямо подсказывает мне память, — депонировал все это у пекаря в местечке Пфаффенхофен и двинул по направлению к Ингольштадту, — мужчина в коричневых бриджах, тридцати лет, с кое-каким опытом в игре жизнью и смертью, исполненный неколебимой и необъяснимой уверенности, что путь этот ведет к жизни, а не к смерти.

Полуденный звон в деревне Рингенхайн; некий роттенфюрер берет на подозрение как коричневые бриджи, так и документ, выданный генералом обер-ефрейтору: уволен по причине

открытого процесса «tbc». Смерть уже готовится схватить цивильную спортивную рубашку за ворот, но тут четырнадцать эсэсовцев в крестьянском дворе обступают сведущую в гаданье дюссельдорфскую даму, и тогда у шеи, торчащей из воротника цивильной спортивной рубашки, появляется шанс. За вторую половину этого дня и за вечер эсэсовцы самым доскональным образом переворачивают деревню вверх дном, некоторое послабление делается лишь для двора, где расквартированы те четырнадцать, а также укрытый глубоко в копне сена пятнадцатый. К утру крик и беготня удирающих, позднее — кое-какая трескотня и погромыхивание завязавшегося сражения, а к девяти крестьянин раскапывает сено, у дюссельдорфской дамы и впрямь оказывается полбутылки коньяку, она гадает мне на картах, и в благодарность за коньяк я слежу за тем, как король, дамы и валет собираются вокруг моего будущего, а десять минут спустя жующий chewing-gum[8] бледнолицый лейтенант-танкист: «Serbian, I see! Go on, go home»[9]. Не вдаваясь в объяснение разницы между сербом и сорбом[10], я — go on, взяв курс на северо-восток, не имея ни малейшего представления о том, что валет, дама и король дюссельдорфской дамы доставят мне «по дальней дороге» «неожиданное богатство» в «казенный дом».

2

Будущее на ящике из-под мыла[11]

Начальник американского главного штаба XII корпуса помешан на чистоте, горе той былинке, о которую запнется его нога; при штабе на сей предмет целая конюшня вольнонаемных, они подметают, скребут, моют посуду, подбирают соломинки, окурки, бумагу и выдергивают травинки на территории главного штаба, размещенного в Регенсбургской артиллерийской казарме.

Я живу во владениях начальника по снабжению, здесь под лестницей в подъезде стоит овсяный ларь, на котором я сплю; доставленный из США ящик из-под мыла служит мне столом, наполовину набитый мешок с овсом заменяет табурет; стоящий перед входной дверью «джи-ай», рядовой, — мой телохранитель, собеседник и осведомитель по части взбаламученной мировой истории; статус мой весьма неясен, я не военнопленный, но и не свободное лицо.

Старший рядовой Брукс, по прозванию «Дог» или «Дуг», — я так и не удосужился узнать, — тоскует и понимает мою тоску, он скучает по дому, по своей нареченной — на фотокарточке она

слегка напоминает Лилиан Харвей: чаша белокурых волос и маловато тела, он боится за свою работу — у него отменное место закройщика на обувной фабрике, тревожится за своего братишку Джо, который высадился в Палермо, — в общем, Дог или Дуг с ума сходит от беспокойства, распроклятая потаскуха-почта, как видно, уже празднует Victory-day, День Победы, между тем как горемыки «джи-ай» ждут не дождутся писем от невест, братьев, отцов.

Я разделяю его горе, поэтому он перетаскал мне все свои книжки из «Карманной библиотеки», иллюстрированные рассказы комического сержанта Сэда Сэка, сенсационные приключения, «сторис» о разбойниках Дикого Запада и «Седьмой крест».

Я читаю Анну Зегерс и кричу по ночам, потому что черные палачи навещают мой овсяный ларь. Дог или Дуг считает чтение книг, в особенности таких, что будят среди ночи, непоказанным для здоровья; в противовес вредным книгам, он учит меня карточным фокусам и оставляет мне в подарок свою колоду расписных карт. Я упражняюсь в преподанных мне фокусах, правда, без должной серьезности, а как-то взбрело мне на ум разложить карты на ящике из-под мыла в четыре ряда, как это делывала дюссельдорфская дама, но ни о чем таком и не думал, а Догу уже что-то запало в голову, и он спрашивает, умею ли я гадать на картах. Мои только что завершившиеся восемь лет самого свободного из университетов, обширного и привольного, как сама жизнь, стоят за мной и подсказывают, что правильнее ответить «да», я и говорю «да» и раскладываю Догу карты, хоть понятия не имею, которая из них «дорога», а которая «приятное известие», даме червей поручаю быть Лилиан, это сама нерушимая верность, ни один мужской рот не касался се вишневых губок; валет-пик у меня сходит за братца Джо, здоров и невредим, стоит он под лучами южного солнца в образе десятки бубен; туз треф — это Догов «джоб», все там у него складывается как нельзя лучше; у пикового короля такой достойный вид, что я назначаю его отцом Дога, почтенный родитель тоже пышет бодростью и здоровьем, — в общем, самое отрадное будущее, и даже распроклятая потаскуха-почта готова для него расстараться и вот-вот доставит ему по дальней дороге радостные известия в казенный дом.

Дог живет на окраине Нью-Йорка, он не верит в чудеса и только смеется, бросает пачку «Кэмел» на ящик из-под мыла, где разложено его будущее, и идет обедать.

Десять минут спустя он уже снова тут, смотрит на меня сияющим и даже уважительным взглядом и сооружает передо мной форменный праздничный стол: продукты из офицерского

пайка, сигареты «Кэмел» и «Кэндис», конфеты. Ему только что вручили одиннадцать писем, перед моими картами не устояла даже потаскуха-почта.

Я радуюсь за Дога и дивлюсь на свое богатство — добрых тысяча марок по спекулятивным ценам, как мне и тому же Догу вскорости становится известно. Но у меня нет времени долго дивиться, в эту ночь моя фуражная база становится храмом дельфийского оракула, а мой мешок с овсом — треножником пифии. Я предсказываю наудалую, темен смысл моих речей, но каждому слышится то счастье, которое ему желанно, а после того, как я наворожил старшему капитану скорое возвращение домой и тот состроил кислую гримасу, я обещаю младшим участникам этого Великого Мирового Театра веселый отпуск на родине и плодотворное пребывание в Европе.

Мой овсяный ларь доверху наложен спальными мешками и одеялами, тут и пишущая машинка, и патефон, не говоря уже о ботинках, чулках, белье, мундштуках для сигарет, — и все это венчает квадратная карточка — пропуск на северо-восток. На карточке стоит, что я a displaced person — перемещенное лицо. Первый час вновь познает правду.

3

Intermezzo

Первый час еще раз превращается в нулевой, когда до меня доходит известие (ложное), будто семья моя погибла; дома мне, стало быть, делать нечего, я работаю мойщиком посуды в гостинице и собираюсь утвердиться в этой стране, побежденной, но не освобожденной; мне довелось познакомиться здесь с добропорядочным и честным человеком; старый социал-демократ, он считает для себя позорным, что в свое время не стал нацистом, а посему не может вполне воспринять поражение Гитлера как собственное поражение и упирает на то, что новая социал-демократия должна стать националистической; правобережную Германию он зовет Сибирью.

И я вижу, что по-прежнему живу в гитлеровской Германии, что немцы так и остались немцами, они по-прежнему поют и веруют, что «Германия всего превыше». Я записываю в свой дневник: «Решено, я уезжаю отсюда, и как можно дальше от Германии».

Но тут дошло до меня письмо матери: «Мы живы».

И письмо друга: «Ты нам нужен».

Я, нимало не задерживаясь, прощаюсь с этой страной, часы мои снова показывают час первый.

4

Пограничный камень

Последний холмик, и передо мной моя деревня.

Тысячу раз представлявшаяся мне мысленно, она теперь совсем другая. Я не ликую, не чувствую в глазах жжения, и горло у меня не саднит, зато ноги налиты свинцом, на плечи давят тридцать — сорок лет жизни, теперь, когда от меня потребуется дело, тогда как до сих пор всё со мной что-то делали.

С того дня, как мне сломали в тюрьме предплечье, жила в моем сознании неистовая, рожденная ненавистью надежда повесить когда-нибудь такого вешателя; я сажусь, это пограничный камень, здесь начинаются угодья моей деревни; смешна и до абсурда невыполнима та рожденная ненавистью надежда, но все кругом заслоняет и гнетет незнание того знания, что учит, как строить и устраивать жизнь без палачей и без надежд, рожденных ненавистью.

Я чуть ли не бегом прошел десять километров, отделяющих деревню от станции, а теперь плетусь шагом, или делаю вид, будто плетусь, как бы стараясь показать, что хочу вдоволь насладиться возвращением в родимый край после восьми лет страха… Здравствуй, большая липа и серая шиферная кровля школы, здравствуйте, дома, соседи, гуси на речном островке — у садовой ограды за отцовским домом кончаются все мои страхи, как вынесенные из прошлого, так и новые — пред ожидающим меня новым.

Двое узнают мой пронзительный свист, мать и старая овчарка.

Я целую мать, впервые после детских лет, собака споткнулась о ведро, она слепа. Она тихонько повизгивает, я поглаживаю ее, я тоже слеп.

Вечером возвращается отец.

— Долго же ты заставил себя ждать, — говорит он.

У него удивительно ясные, светлые глаза.

5

Иоганн Себастьян Бах

Мои друзья, из тех, кого не поглотили черные страхи коричневых лет, уже захвачены интересами дня, но в их речах попадаются слова, которые кажутся мне несбыточными замыслами, персиками в густом месиве перловой каши.

Кто-то обнимает меня — чувствительная сцена — пять-шесть человек наблюдают со стороны, один из них — я, и я вижу, как деревенею, отрезвленный и даже отчужденный.

Один в чем-то горячо убеждает меня, я не поспеваю за его словами. Он провел в лагере восемь лет, а говорит то же самое, что и до ареста. Он так и не удосужился заметить, что прошлое умерло, погребено и не восстанет ни на третий, ни на какой-нибудь иной день.

Другому отпущено сто литров молока на тысячу детей, он смотрит на мир под этим углом зрения, угол этот обширен, но слова его, прямо сказать, мелковаты. Он дает мне для начала краюху хлеба, советует, не теряя времени, устроиться на учебу и, судя по всему, надеется, что молоко для детей со временем обретет для меня бóльшую важность.

Последний забирает меня к себе, мы едим мой хлеб, запивая чаем, настоянным на каких-то травах, мы задаем вопросы и отвечаем, вопросы все больше не по существу, а ответы — осторожный, посмеивающийся круг, обведенный вокруг Сегодня: Вчера умерло, Завтра еще не родилось.

А затем мой друг нерешительно достает из кармана самую обыкновенную и в своей обыкновенности пережившую многие времена и их крушение карточку — желтоватого цвета входной билет, номер, дата, место.

«Четвертый бранденбургский концерт» Иоганна Себастьяна Баха, направленная на дирижера очень мощная лампа, на пультах лежат нераскрытыми нотные тетради, у молодой красивой солистки голодные руки. Я смотрю и слушаю, посмеивающийся круг расступается, он вбирает в себя Иоганна Себастьяна Баха, и холодный, неосвещенный зал, и голод юной красивой солистки и женские груди, и Томаскирхе[12], тысячу детей и сто литров молока, и в антракте я тоже вижу и слышу многое; Иоганн Себастьян Бах — это, возможно, попытка воспринять умершее и погребенное как некую пасхальную надежду.

Когда я возвращаюсь домой через свой разрушенный город, за чьим-то окном бьют стенные часы, и мне не приходит в голову, что они отбивают мой первый час. Я до странности не чувствую усталости, напротив, какую-то приподнятость и бодрость, я несу в себе все прошлые времена, и ни одно будущее без меня не обойдется, — человек в точке пересечения времен, я готов к жизни. Я не обдумываю эту жизнь в деталях, и неимоверно

комическим представляется мне, что когда-то я обладал тайной будущего с высоты ящика из-под мыла. Я смеюсь и чувствую, что смех мой звучит в унисон с серьезностью той юной, прекрасной солистки, мне бы вместо аплодисментов отдать ей свой хлеб, — возможно, она бы улыбнулась.

Перевод Р. Гальпериной.

Гюнтер Дайке
ПУТЬ ДОМОЙ

Хорошо хоть, что солома, которую они накидали для нас в этот пустовавший гараж, была чистой. Раньше здесь, вероятно, стояли военные машины. Но у русской пограничной части, которая расположилась теперь в этих местах, были только лошади и велосипеды. Патрульный на велосипеде и задержал меня, когда я собрался было пробраться в Ильзенбург, а оттуда дальше, домой.

Итак, я лежал на соломе, пытаясь разобраться в своих чувствах. Все, кто лежал со мною рядом, явно не впервые попадали в подобную переделку.

Я был еще слишком молод, чтобы долгое время чувствовать себя несчастным, и слишком молод, чтобы отчетливо донимать, чего именно я хочу. В марте 1945 года одна молодая норвежка спросила меня, что мы будем делать, если проиграем войну. Я ответил с пафосом:

— Будем сражаться до последнего патрона и этот последний патрон выпустим в собственную голову.

— Вы — страшные люди, — недоверчиво улыбнулась она.

Сейчас уже конец июля 1946 года, а я все еще живу. Но юность, пожалуй, кончилась, и многие грезы отошли в прошлое. Что будет, когда я вернусь домой, к матери и моим младшим братьям и сестрам, я не знал. Я научился командовать подводной лодкой, но в Тюрингии эти познания уже никак нельзя было применить. Обо всем этом я вовсе не думал. Нужно было проститься с мечтами. Правда, не навсегда, ибо мне предстояло еще поведать о них в рассказах, которые я собирался написать, но в действительности ни одна мечта не сбылась.

Излюбленная мечта моего друга Пита была такая: мы с ним совершим кругосветное путешествие на кече[13]. Стоило только наскрести сорок тысяч марок, а искатели приключений — везде желанные гости; о путешествии можно будет написать книгу — «На паруснике вокруг света», выступать с лекциями, сопровождая их диапозитивами, на вырученные деньги заново оснастить лодку, снова отправиться в море и так далее…

Пит был старшим помощником командира на нашей подводной лодке, я — вторым. Он был человек дела, я — мечтатель, и когда на нас находило соответствующее настроение, мы с ним играли в Хагена из Тронье и Фолькера из Альцая[14]. Расскажи об этом кому-нибудь, так разве поверят, что взрослые,

хоть и молодые люди, сдавшие экзамены на офицерский чин и с капитанскими патентами в кармане, имевшие дело с дизелями, торпедами, рулями глубины и радиоприборами, перевоплощались в мечтах в героев средневековых сказаний, им грезились лагерные палатки, за которыми простирается дымно-красный горизонт, и вспоминалось: «Мчаться, мчаться, мчаться…»[15] Мешанина из Ницше, Рильке, Бёрриеса фон Мюнхгаузена, Феликса Дана…

Рослый, белокурый, голубоглазый Пит был фактически командиром нашей подводной лодки. Правда, руководство операциями принадлежало самому командиру, мягкосердечному человеку с теплыми карими глазами, который, само собой разумеется, обладал неограниченной командной властью. Однако наиболее важные решения принимал Пит — Пит, который презирал командира и которого тот, вероятно, ненавидел.

Все же в одном случае командир сумел-таки настоять на своем — к нашему счастью. Это произошло в ночь с 5 на 6 мая 1945 года в бухте Рейкьявика. Мы атаковали американский морской конвой и потопили два корабля, но подозревая о том, что было уже известно американским морякам, а именно: что война, считай, почти закончилась. После того как еще одно их сторожевое судно, пройдя над самой нашей рубкой, вспороло себе брюхо нашим перископом, они, разумеется, начали нас преследовать с удвоенной яростью. Они запускали в нас целыми сериями глубинные бомбы, так что нам уже казалось, будто мы воистину угодили в адово пекло.

Тут Пит предложил лечь на грунт на глубине шестидесяти метров. Его поддержал старший инженер-механик, маленький, мускулистый, который сидел в центральном посту, как обезьянка на ящике, управлял горизонтальными рулями и больше всего беспокоился о том, сколько электроэнергии мы расходуем. Однако командир принял другое решение: мы погружаемся только на двадцать метров и пытаемся уйти. Он рассчитал верно: противник предполагал, конечно, что немецкая лодка, зная, что она обнаружена, должна будет залечь на возможно большей глубине, а в этих местах такая глубина составляла от пятидесяти до ста метров.

Не исключено, что одна бомба с взрывателем, установленным на такую глубину, уже заклинилась в это время у нас на корпусе между стойкой перископа и ограждением боевой рубки и не взорвалась лишь потому, что мы погрузились всего на двадцать метров и пытались прокрасться к выходу из бухты под вспугнутой стаей сторожевых кораблей, что нам и удалось наконец через двадцать семь часов. Но перископ наш был сломан. И когда мы

решили всплыть, чтобы осмотреться, бомбу качнуло, она выскочила из ловушки, упала с рубки на корпус, прогрохотала к корме, ушла на глубину и там взорвалась.

Побледнев от страха и облегченно вздохнув, мы поняли, что наш командир оказался прав.

Впрочем, Пит и после этого по-прежнему пользовался огромным авторитетом, по крайней мере, среди нас, офицеров. Это вновь подтвердилось несколько дней спустя, когда нам пришлось решать, что же делать с «проклятой старой посудиной».

Мы вошли уже в Датский пролив, всплыли северо-западнее Исландии и как раз 8 мая услышали по английскому радио, что война кончилась. Итак, первое известие о положении на фронтах, полученное нами через три недели после того, как прервалась наша радиосвязь с сушей, оказалось известием о мире.

Это последнее плавание к северу от Исландии, где к тому времени солнце уже почти не заходило, преследовало меня иногда даже во сне — не столько само это конкретное событие, сколько вызванное им странное, противоречивое чувство. Мы плыли на восток, погода стояла мягкая, спокойная, небо обложили тучи, но было очень светло, море колебала лишь величавая и неторопливая зыбь. Мы выпустили в воду свою последнюю торпеду и уничтожили все секретные бумаги.

При этом я тщетно искал в душе чувство отчаяния. На меня находили минуты честности, когда я признавался себе, что не было ни одной военной операции, участвуя в которой я не испытал бы страха. В школе я с пафосом провозглашал: «Германия должна жить, даже если нам придется умереть!» Однако мне всегда хотелось остаться в живых.

И вот теперь я остался в живых. Война была позади, печатями было скреплено, что отныне никто больше не будет стрелять друг в друга. Втайне я чувствовал облегчение и начал надеяться, что мне, быть может, еще удастся стать сельским учителем или журналистом.

Однако в то же время я начал прощаться и со всем тем, с чем успел сродниться, — с войной, и с подводной лодкой, и с приключениями, и с морским плаванием. Опасности? Они были мужественно преодолены. Страхи? Они были подавлены. Отныне тебе будет дорог запах дизельного масла, а шум дизельного мотора будет напоминать о боевом походе. Не забывай колеблющейся перед глазами линии горизонта, вбери в себя подъемы и спуски корабля: ты знал море!

Десятого мая мы приняли переданную открытым текстом радиограмму немецкого военно-морского командования, согласно которой всем кораблям надлежало прибыть в английские,

американские или русские порты.

Тут настал час моего друга Пита. Командиру, который в это время изучал морскую карту Англии, он сунул под нос пистолет.

Впервые с тех пор, как я ступил на борт подводной лодки, я увидел задраенные на ходу переборки между офицерским помещением и остальными отсеками. Совещание офицеров. Что будет с нами, что будет с проклятой старой посудиной? Командир напомнил о приказе военно-морского командования.

— Обман! — закричал Пит. — Наш «старый лев» никогда не мог бы отдать подобный приказ, противоречащий чести немецкого военного моряка! Ясно, что эти радиограммы послал английский штаб!

Что делать? Плыть в Норвегию — предложил старший инженер-механик. Все согласились, — ведь там хранились наши чемоданы и парусиновые мешки. Но мы тотчас же вспомнили, что Норвегия тоже оккупирована противником, а ее население отнюдь не питает к нам дружественных чувств.

Тут Пит и изложил нам свой план:

— Северо-восточнее Исландии мы погрузимся, возьмем курс на юг и потихоньку доползем до Немецкой бухты. У острова Амрум ночью всплывем, затопим наш корабль и на надувных лодках отправимся к берегу. А потом? Ну что ж, приближается лето. Каждый захватит с собой как можно больше провианта, а неприкосновенный запас разделим поровну. Днем будем отсыпаться в сараях, отдаленных от крестьянских домов, а ночью окольными дорогами продвигаться в родные места, разбившись при этом на группы — по провинциям.

Было это 10 мая. А ранним утром 24 мая мы подошли к песчаному берегу Амрума и немного погодя, во время отлива, благополучно сели на мель.

Когда начался прилив, нас перевезли в спасательном катере на остров, а оттуда в Вильгельмсхафен, где некоторое время продержали под арестом.

Еще до этого, плавая в Северном море, мы побросали наши пистолеты в воду. Никто и не подумал пустить себе с отчаяния пулю в лоб.

Итак, мы были «у англичан», а это все же лучше, говорили мы себе, чем оказаться «у русских». Весь мой багаж — белье и несколько личных вещей — помещался в бывшем мешке от спасательного снаряжения.

Другого имущества к содержимому этого мешка с той поры не прибавилось. Теперь я его использовал вместо подушки. Мне не спалось в этом гараже, который отнюдь не был предназначен для размещения людей. Были бы у меня карандаш и бумага да

еще свет, я, вероятно, начал бы вести дневник. А так оставалось лишь сочинять в уме разные истории о себе самом, причем концы я варьировал: то придумывал трагический исход, то «хэппи энд».

Вот, к примеру, длиннейшая история о любви в ту тяжкую пору моей жизни в Вильгельмсхафене, история о сплошных ошибках, о лжи и измене, обо всем том, о чем нельзя было думать без содрогания. Прогулка с Питом по гамбургскому порту: закат солнца, а на переднем плане — портальные краны и корабельные мачты. Верность друзей, немецкая тоска по дальним странствиям. Пит говорит:

— Нас снова тянет из дому.

Так зарождается мысль отправиться на кече в кругосветное плавание. Небольшая и несентиментальная любовная история, место действия — соседняя деревня, которая осталась теперь уже далеко, где-то за тридевять земель.

К русским тебя и на аркане не затащат, сказал я себе и решил наняться сельскохозяйственным рабочим где-нибудь в английской зоне оккупации. Наш младший матрос осел на маленьком клочке земли на севере Гарца, под Госларом, и был недоволен своим положением, но зато свободен от забот о хлебе насущном, а мой бывший командир получил в наследство солидную ферму в Вестфалии. Между ними двумя я и мотался, хлопоча о разрешении на жительство.

Да только вот что: назовите мне человека, который в те времена не пошел бы с радостью в сельскохозяйственные рабочие.

А вот на шахты Рура никому ехать не хотелось. И мне тоже.

Так что в конце концов мне пришлось снова упаковать свой мешок и отправиться туда, откуда я пришел: домой, к матери. Там я был нужен, — ведь мой отец погиб в последние дни войны. Правда, в тех местах обосновались русские, но, как писала мать, слухи, будто всех бывших офицеров высылают в Сибирь, не подтвердились. Так или иначе, но там ведь тоже была Германия.

Я простился со своей мечтой о кругосветном путешествии: кеч превратился в воздушный шар, который исчез за горами, оставив после себя лишь отзвук насмешливого хохота Пита. Я простился с нашим младшим матросом, который с угрюмым видом остался в убогом доме своего отца. Я простился со своей подружкой, которая умела самозабвенно целоваться и готовить манный пудинг и которая, конечно, в следующее же воскресенье снова пошла на танцы.

После этого я смело перешел через границу и угодил под велосипед первого же русского патруля.

Женщина, которая согласилась доставить меня «на ту сторону», была уроженкой Вернигероде, и ей разрешили поехать

домой. Уехала с моими часами и дневником. Мне приказали следовать за патрулем в комендатуру. В левом чулке у меня было спрятано три тысячи марок, выплаченные мне из офицерского обмундировочного фонда, а в правый ботинок засунуты «Железный крест», боевой знак подводника и прочие побрякушки.

Во время обыска мне приказали разуться; я уже собрался было снять левый ботинок, но меня попросили снять правый, и когда в нем обнаружили мои жестянки, то, уж конечно, нашли и деньги, спрятанные в левом чулке. Сержант, который немножко говорил по-немецки, обругал меня: что ж, мол, выходит, я считаю советских солдат ворами? И сунул все к себе в карман.

Я наблюдал за его действиями без особого огорчения, ибо в такие минуты радуешься, что хоть в живых-то остался. К тому же мне было не до того, так как один русский солдат принял было мою отслужившую свой век фуражку морского офицера за эсэсовскую. Когда же он понял свою ошибку, он угостил меня, некурящего, махоркой — славным зельем, едва не свалившим меня с ног.

Вот и сейчас, лежа на соломе и подложив под голову спасательный мешок, я не горевал о пропавших деньгах, хотя мне теперь даже билет купить было не на что. Уж как-нибудь домой-то я попаду, главное, что в живых оставили… Страх у меня почему-то исчез.

Кроме того, за последние недели во мне появилось нечто новое — готовность освобождаться от предубеждений и, исходя из собственного жизненного опыта, формировать свой взгляд на мир. В Гамбурге я был на выставке картин и скульптур Марка, Кирхнера, Барлаха, Кете Кольвиц и никаких следов вырождения в этом так называемом «вырождающемся искусстве» не обнаружил. Зато теперь я узнал о Берген-Бельзене[16], а один адвокат, служивший прежде в полевой жандармерии, рассказал мне о пытках, применявшихся в гестапо. Нет уж, теперь я мог радоваться хотя бы тому, что служил на флоте, а не в войсках СС.

Русские тоже никак не хотели укладываться в ту схему, которая засела у меня в голове. Впрочем, я не слишком стремился познакомиться с ними поближе, а тем более изучить их досконально. Одно утешало: пусть они выиграли войну, но уж привить нам коммунизм им никогда не удастся…

И так далее, и тому подобное — мысли, которые бродят в голове, пока не заснешь. В конце концов, я еще был достаточно молод, чтобы уметь спать даже в такой ситуации.

На следующее утро пришел русский солдат и спросил, кто из нас умеет чистить лошадей. Так как я был без пяти минут сельскохозяйственным рабочим, в моей душе уже успело

развиться нечто похожее на крестьянскую профессиональную гордость. Мне достались два великолепных коня, и под благосклонными взглядами старшины я их начистил до зеркального блеска.

После этого, как бы в награду за хорошую работу, мне разрешили забрать свои пожитки. Потом приказали немедленно явиться к коменданту. Это был молодой лейтенант или старший лейтенант. И он обладал властью. В уме у меня промелькнули три возможных варианта: он мог отпустить меня на волю — домой; он мог отослать меня назад — там ждали меня рурские шахты; наконец, он мог снова засадить меня, и тогда — здравствуй, Сибирь! Мне вдруг снова стало страшно.

Офицер говорил по-немецки. Он взглянул на мое свидетельство об освобождении из заключения, выданное британскими властями, и спросил, куда я собираюсь отправиться. Открыв коробку из-под папирос, он достал оттуда мои ордена, примерил «Железный крест» к своей гимнастерке, насмешливо усмехнулся и вручил мне все мои бирюльки, которые я поспешно сунул в карман.

Затем он вернул мне мои деньги, вложенные в старый конверт, и попросил их пересчитать, а когда я попытался было благородно отклонить это предложение, он просто заставил меня. Услышав, что сумма сходится, комендант закончил наш разговор словами:

— А теперь ступай домой!

Я взял свой мешок, вышел на улицу и направился к вокзалу, все ускоряя шаг, только бы уйти подальше, — ведь и от этого русского можно было ждать чего угодно, он мог приказать патрулю вернуть меня обратно, значит, и от него нужно было уйти подальше, только бы подальше!

С тех пор я шел к нему.

Перевод И. Исакович.

Йо Шульц
ВЕХА НА ОДНОМ ПУТИ

1

Моя последняя радиограмма в штаб *командующего,* вышестоящей инстанции, полномочной принимать решения по всем вопросам, выходящим за рамки компетенции подчиненных подразделений, таким, как *окончательные поражения, окончательные победы* и прочие столь же окончательные катастрофы, гласила: «До скорой встречи в Сибири на лесоповале!»

И *открытым текстом* — а вдруг нечаянно все-таки сотворится *великое чудо,* перелом в войне, — да это проступок, наказуемый военным трибуналом. Чего там еще шифровать, — мертвые не воскресают.

Не доказано, присовокупил ли я к этой последней прозвучавшей в эфире необычной реализации *армейского ритуала: «Разрешите доложить!»* — знаменитое ругательство Рыцаря с Железной рукой, получившее благодаря Гете столь широкую популярность; но весьма вероятно.

Как вероятно и то, что текст моего *донесения об убытии* был зафиксирован *согласно инструкции* буква за буквой в клеточках голубоватых уставных бланков для приема радиограмм, если только последнему дежурному радисту не помешали неизбежные при капитуляции и сдаче в плен формальности.

Фашистская бюрократическая машина функционировала до последней минуты и даже позже, в первые залитые солнцем майские дни 1945 года, например, в огрызающихся огнем бункерах германской столицы, в колоннах эвакуируемых концлагерей, в норах, где засели доведенные до безумия и брошенные на произвол судьбы «вервольфы» — старики и подростки: послушные *исполнители,* все еще действовавшие согласно букве приказа, напечатанного на бумаге или переданного в эфир, *до последнего вздоха хранившие верность* наиверховнейшему *начальнику* — и даже после того, как он испустил свой последний вздох.

Но приказ оставался приказом; он действовал: стрелял, убивал, жег — как и прежде, *не считаясь с потерями,* никому не подвластный, никому, кроме самого себя, — живучее и плодовитое, неуязвимое и ненасытное бумажное чудовище черно-

коричневой бюрократии, видимое и невидимое, всячески замаскированное, скрытое, ушедшее в подполье: ее последний апокалипсический всадник.

Что такое бюрократия?

Организованная бессмыслица. Упорядоченный хаос. Насильственная слаженность.

Принцип как таковой. Отрыв от реальности. Система, довлеющая сама себе.

Она сама себя уничтожает. Однако всегда лишь — *когда уже слишком поздно.*

Приказ гласил: *до последнего человека.* Но до этого не дошло. Благодаря *русским.*

2

Я навел порядок.

В содержимом своего вещмешка.

Навести порядок означает: расстаться со всем ненужным, лишним, подготовиться к грядущему.

Настоящее *наведение порядка* в высшей степени антибюрократично.

Антибюрократичность далась мне легко. Я попробовал свои силы в очень личных антибюрократических акциях протеста, к счастью, не замеченных моими начальниками, еще не сложившими полномочий. Я начал с того, что съел *неприкосновенный запас.*

Пускай теперь русские заботятся о моем пропитании.

Затем я прогнал мысль: *что же будет после войны.*

Это далось мне уже труднее.

Я и раньше не предавался мечтам о том, как вернусь домой героем и победителем, — чего не было, того не было. А вот об актерском училище при венском Бургтеатре я и впрямь мечтал, — мне ведь, бывшему ученику экспедитора, с четырнадцати лет пытавшемуся самоучкой писать пьесы, удалось блестяще выдержать приемный экзамен, подав пьесу по мотивам *«Эгмонта»,* любовно отшлифованную в часы сравнительно спокойных дежурств у аппарата где-то между Черкассами и Кременчугом; но занавес опустился, опустился еще раньше — в день вторжения на советскую землю, железный занавес, занавес из чугуна и стали, made in Germany, отлитый в Германии, на заводах Крупна.

А еще была девушка *нервивсевишниеразу,* — мы

познакомились во время последнего отпуска.

Вишни небось поспели, и, уж конечно, нашлось, кому их сорвать.

Но к тому времени, когда эти мысли стали мучить меня, она уже давно обратилась в пепел в огне фосфорных свеч, зажженных в феврале на дрезденских елках возмездия.

А я-то послал ей письмо, полное лжи о скорой и верной победе!

3

Что же теперь будет; что станет со мной, или конкретнее: *что сделают с нами русские?* Что претерпели *советские пленные,* — пусть не от меня, но от нас, — я знал; хоть и не все, но вполне достаточно.

Око за око, зуб за зуб…

«Староста, староста!» — как птицы, возгласы вспорхнули из-за колючей проволоки в пышущее беспощадным зноем небо того июльского дня 1941 года, сперва одиночные, они потом тысячекратно умножились, сгустились в грозовую тучу, в звучащее *предзнаменование,* повисшее в воздухе над загоном, огражденным колючей проволокой. По силе заключенного в них страдания их можно было сравнить разве только с *пронзительной* жалобой цветов и лошадей, гибнущих в черно-огненной буре войны, охватившей *землю.*

«Староста, староста!» Тот, к кому взывал многоголосый хор, заклиная о помощи и в порыве последнего отчаяния молитвенно протягивая руки, стоял в полной растерянности. Один из лагерных переводчиков отыскал его, председателя сельсовета, привез сюда и заявил тысячной толпе, что этот человек уладит все, что можно уладить.

Сотни записок, сложенных треугольниками писем, свертков с ценными вещами для родных, жен, матерей и невест тянулись, стремились, рвались к нему сквозь квадратные просветы в колючей проволоке; и в каждой руке, за каждым умоляющим жестом — судьба, горе, пропасть страданий, тоска по близким, по родине — и *упрек ему,* стоящему по ту сторону проволоки.

И все нарастал вопль, рвущийся, точно из стоединых уст, — многоголосый, трагический, взывающий: «Староста!»

Всем все равно не поможешь; да и что толку в такой помощи, дарованной милостью врага.

Но худым стариком, похоже, овладела одна-единственная мысль: «Где все, там и я. На миру и смерть красна». Он взглянул

налево, взглянул направо и вдруг с отчаянной решимостью бросился вперед к ближайшей дыре в ограждении и протиснулся сквозь нее.

К нему тут же, не торопясь, направились охранники с дубинками в руках.

Переводчик, выслуживаясь перед унтер-офицером, у которого я был водителем, затараторил на швабском певучем наречии, но с легкой примесью гортанных звуков: «Дурачье русское, жил бы себе припеваючи, мы, немцы, на другой манер скроены! Не зевай, ребята, сейчас пойдет потеха, нельзя упустить такого случая!»

Выдернув из-под пояса длинный березовый сук, словно палаш болтавшийся у него с правого бока, он перехватил его левой рукой и, подняв высоко в воздух, как древко знамени, проследовал в лагерь — ни дать ни взять римский трибун, напяливший синие галифе, белую рубаху и ремень со сбившейся набок надраенной пряжкой, на которой не было выбито обычных слов: «С нами бог!»

Поднялся невообразимый крик, мешанина из немецких и русских команд, всю эту массу людей согнали в колонну по десять; кто был покрепче, помогал идти больным и раненым; тронувшись с места, колонна бегом направилась к огромной бадье, наполненной ломтями хлеба; несколько охранников хватали скудные порции и швыряли их людям, которых в бешеном темпе гнали мимо.

Некоторым счастливчикам из числа здоровых удалось схватить свою пайку, прочие остались ни с чем, куски хлеба били их по лицу, пролетали мимо, падали прямо на землю, втаптывались в грязь; пытавшихся за ними нагнуться сбивали с ног следующие шеренги и снова поднимали дубинки надзирателей; и уж совсем плохо приходилось черноглазым и черноволосым, особенно если у них еще и нос крючком, — таких охранники или бравый служака-переводчик тут же выволакивали из колонны, осыпая ударами.

Я живо представил *себя* в кучке отобранных. А потом, как ни старался отогнать эту мысль, никак не мог от нее отделаться, — ведь и я был воплощением всех этих внешних черт, превращавших человека в меченого, в презренного, остервенело преследуемого парию.

Но вот в чем нелепость — чудотворная сила *армейской формы* отбрасывала и на меня ореол этакой *светлой* личности, призванной вырвать человечество из мрака, — хочет оно того или нет.

Вне всяких сомнений, эта первая встреча лицом к лицу с фашистскими методами сортировки людей, происшедшая вблизи

от линии фронта, в победном упоении первых недель русской кампании, потому так запечатлелась в памяти, что связалась в моем мозгу с возможностью собственных страданий.

Получилось примерно так же, как и дома; там значок гитлеровской молодежи служил мне спасительной *шапкой-невидимкой,* когда *носители духа времени,* так называемого *здорового* народного чутья, слишком вплотную занимались сравнительно-зоологическим анализом моей особы с их расовой *кочки зрения.*

4

В тот первый миг свободы, когда я, закончив передачу, только-только убрал палец с клавиши и переключился на прием, наша походная радиостанция как раз катила из *Курляндского котла* прямиком в советский плен, — мы успели отъехать всего несколько километров, местность выглядела все такой же чистенькой и дышала таким же безмятежным покоем, словно ее все это не касалось, Вильгельм, наш шофер, вдруг притормозил, — так вот в тот исторический миг, превративший немногих уцелевших из радиовзвода при штабе дивизии в отставных радистов, я и впрямь, еще не отдавая себе ясного отчета, ощутил какую-то радость, или, скорее, что-то вроде облегчения, не более того.

Во всяком случае, нынче мне кажется, что те минуты я воспринял именно так.

Что бы теперь ни случилось, но с *недавним прошлым,* с этой двенадцатилетней историей тысячелетней империи, для меня было покончено. Ничего от этого времени не останется, абсолютно ничего.

Я отряхну его с себя, как тягостное воспоминание, как капли холодного дождя. Так думал я тогда.

Но и у меня, как и у большинства, за эти годы успела незаметно нарасти вторая шкура: *шкура приспособленчества,* без которой нельзя было спасти собственную шкуру; она до неузнаваемости искажала подлинные черты лица, — так в детективном фильме нейлоновый чулок делает неузнаваемым гангстера, — а некоторых, у которых она уже задубела, надежно ограждала от разоблачения их подлинных чувств; однако отряхнуть с себя *это* оказалось не так просто. Теперь-то я знаю.

В этот момент *ноль,* то есть в тот исторический миг между только что отгремевшей войной и наступающей весной, я понял, что первую я безвозвратно проиграл, — и черт с ней, это меня

ничуть не трогало. *Идолы* этого *режима* были несовместимы со мной, они *неизбежно* оказывались диаметрально противоположными мне по моему мироощущению, да и по физическим и душевным задаткам.

К тому же в моем роду не было ни крестоносцев, ни титулованных грабителей с большой дороги, не говоря уже о *профессиональных завоевателях* — промышленниках или военных; дед мой хоть и был по натуре перекати-поле, но владел шорным ремеслом, отец малярничал, а прадед, выходец из Галиции, переселившийся к сорбам, был бродячим батраком и мастером на все руки. Предки по материнской линии предпочитали более оседлый и сельский образ жизни: то были крестьяне, охотники, каменщики, — во всяком случае, в традициях семьи было заниматься полезными для людей вещами; вот и мои планы на будущее тоже носили вполне житейский характер.

У некоторых же дела обстояли иначе.

Мой момент *ноль,* — а он был и первой секундой мира, — оказался для них первой секундой ужаса; мир, который им так нравилось пинать ногами, съежился, точно футбольный мяч, проткнутый каким-нибудь злоумышленником, лопнул *мыльный пузырь* мечты о мировом господстве, пущенный *«величайшим полководцем всех времен».*

Кто и когда осыплет теперь золотым дождем наград специалистов по молниеносным и затяжным войнам за их лихие подвиги, кто и когда вдохновит господ помещиков на захват новых необозримых угодий, где теперь начальникам всех мастей и рангов взять миллионы голов дарового *человеческого* скота, выдававшегося прежде законным порядком, где теперь загодя назначенным судьям, директорам тюрем, губернаторам присоединяемых земель так эффективно опробовать мельницы власти, запуская их на полные обороты и добиваясь невиданных показателей по перемалыванию людей?

Ужасное входило в обычай, становилось *обычным ужасом,* — официально удостоверенным, разрешенным, а потому и не страшным; фюрер обещал все и требовал взамен лишь одного: *верность за верность.*

Так послушайте же, полководцы всего мира, — кто из вас примет к оплате выданные фюрером векселя и рассчитается с нами звонкой монетой?

Иллюзиями подобного рода тешили себя даже некоторые солдаты и унтер-офицеры, у которых не было за душой ничего, кроме верности, или, вернее, того, что они называли верностью и что готовы были при первом удобном случае снова сбыть с рук по

сходной цене.

— Вот увидите, — разглагольствовали они, — в плен нас возьмут только для виду, расформировывать не станут, в крайнем случае сменят форму или просто нацепят повязку на рукав — и прямым ходом в Камерун; да вы поймите, ребята, — русские зарятся на наши прежние колонии, самая работенка для нас, бьюсь об заклад! Ивану без нас не обойтись!

Большинство солдат было отнюдь не в восторге от таких перспектив; они поняли, что их оставили в дураках, а тех, кто был постарше, — уже не первый раз; ведь они не личные счеты сводили и не корысти ради старались, только кто же откажется, когда счастье само в руки валит, — а тут они окончательно и бесповоротно почувствовали себя одураченными, — кому вообще можно после этого верить! Так каждый подводил для себя итоги.

И только кучка неисправимых, неисправимо верующих, не думала ни о каких итогах, ибо — как ни парадоксально это звучит — потеряла всякую надежду; они верили, но не надеялись, да, именно так обстояло с ними дело. Чем ближе надвигался *момент поражения,* тем чаще несколько таких восторженных юнцов обступали столь же юного *розовощекого лейтенантика,* точно ученики своего апостола, и распаляли друг друга истерично-выспренними речами, — секта фанатиков, объединенных и ослепленных разукрашенным *фасадом воздушного замка нацистской Германии,* какой никогда не было и быть не могло; в этом модерновом варианте национал-социализма было намешано всего понемногу — хорошее и омерзительное, рожи и лики, Гельдерлин, Рильке, Ницше и Розенберг, Гитлер и Моцарт с Бетховеном, «Эдда» и господин фон Ширах.

Позолота, что ни день, все быстрее осыпалась с фасада.

Она держалась на этой самой вере.

А позади показного фасада — пустота. На нее-то и уповали те несколько человек, — и среди них розовощекий лейтенантик.

В этом был их последний шанс.

Они ждали, верили, приготовились задолго до *исторического момента,* который наступил *теперь.*

По обе стороны шоссе — шпалерами советские офицеры, сержанты и рядовые. Кричат, машут руками, снова кричат: «Гитлер капут!»

Неужели все это правда?

А мы — пленные, или, выражаясь более деликатно, капитулировавшие.

Как-то, несколько лет назад, я собрался было перебежать к русским — залег в стрелковой ячейке вместе со своим

однополчанином и единомышленником; вжавшись в землю, мы хотели дождаться советских солдат; но вот раздалось могучее: «Ур-р-а-а-а!» — и они ринулись в атаку из перелеска, метрах в двухстах от нас. Мы, не сговариваясь, дали деру, петляя, как зайцы, — к *себе домой,* в роту.

А выходит, вот оно как. Незлое выражение на лицах. Кричат. Машут.

Скорость нашей походной радиостанции на марше — пятнадцать километров в час.

Приземистый мрачноватый усач вскочил к нам на подножку, но и он размахивал всего лишь куском сала, который совал под нос водителю, демонстрируя свою готовность совершить честную сделку.

Тот отказался, и несостоявшийся делец, разочарованный, но не обозленный, спрыгнул на землю.

Машут. Кричат.

Чем это кончится? Становилось жутковато.

Наползал страх.

Вдруг все мы, только что подводившие каждый свой сугубо индивидуальный итог, снова оказались *заодно.*

И ни один не решился хоть как-то ответить этим машущим, ободряюще кричащим людям.

Всё еще отдельные солдаты на обочине, — и почти все машут нам.

Разве мы заслужили такое?

5

Накануне вечером.

Место действия: деревенский дом, в котором разместился наш радиовзвод. Помню даже, что дом был желтый с белым, а ставни серые.

Радиостанция, развернутая в большой комнате с голыми, побеленными известкой стенами, нары с соломенными матрацами, на верхних, свесив ноги в солдатских носках, — Вернер, наш радиотехник, отвечающий за ремонт аппаратуры во взводе; он начищает до блеска латунные части карбидной лампы, ненавистной принадлежности всех поверок и построений. Он драит: *должен быть порядок, что русские о нас подумают!*

В смежной комнате, — дверь снята с петель, — вокруг низенького стола, кое-как сколоченного из березовых жердин, на чурбаках сидит кучка *верующих* и их *апостол-лейтенант:* ушедшая в себя *секта;* эрзац-чай, ни капли спиртного, и тем не

менее — *дурман;* для них как бы не существуют остальные — те, кто, усевшись возле аппарата, пытаются играть в скат; впрочем, игра не клеится.

Вахмистр С., один из самых отъявленных шкуродеров и мучителей новобранцев, вдруг оборачивается добродушным рубахой-парнем; он нарочито громко острит, слоняется по комнате, то присядет, то вновь вскочит, то растянется на нарах; но с *удалившимися* в маленькую комнату даже он не заговаривает.

И вдруг — откуда ни возьмись: связной из штаба дивизии. Войдя, он не отдал честь, не сказал еще ни слова, но все уставились на него; все без исключения.

Лейтенант с благообразным ликом юного апостола даже поднялся со своего места и встал в дверном проеме.

— Через час шеф с начштабом поедут туда, к русским, — на переговоры… а когда вернется… — Связной не договорил и закончил фразу выразительным жестом.

Верующие обменялись взглядами со своим *апостолом.*

Они вновь обрели цель.

Солдат, драивший лампу, как был в носках, так и спрыгнул с нар на пол, что было совсем не в его характере.

— Застрелиться, своими собственными руками? По профессии я железнодорожник. Наш брат еще понадобится. Всегда и всем. Даже русским. Застрелиться! Эта роскошь не для меня. Другое дело — будь я генералом!

Тут и вахмистр, самый старый служака из всех, вдруг вспомнил, что он тоже некогда имел какую-то гражданскую специальность.

Но произошло все это лишь на следующее утро.

После плотного завтрака многое представляется в ином свете. А генералу завтрак пришелся по вкусу. И его начальнику штаба тоже. Так что пока мысль о самоубийстве как-то отошла на задний план.

Двух приверженцев нашего апостола еще удалось спасти. Самого же лейтенанта и двух ефрейторов мы похоронили перед отъездом, за несколько часов до исторического *момента.*

Работенка была не из приятных.

Все трое выстрелили себе в рот.

6

Теперь мы передвигались на своих двоих.

А в остальном почти ничего не изменилось. Раздали ужин,

все, как в родном *вермахте,* — с одним лишь отличием: вместо обычной бурды из *мяты и чего-то там еще* дали настоящего *крепкого чаю.*

Отставной радиотехник, он же будущий железнодорожник, попытался прикарманить *карбидную лампу,* чего я от него уж никак не ожидал.

Мы устроили над ней торжественное судилище и объявили ее *единственной виновницей* всех наших мук от тупой *армейской муштры* в старом прусском духе, насаждавшемся еще *Фридрихом II.*

Как и следовало ожидать, ее осудили — на вечное погребение.

Жертвы карбидной лампы веселились вовсю.

Не нашли дела поважнее!

7

Великий поход в пересыльный лагерь начался.

Что он окончился в Елгаве, это исторический факт.

Доморощенные пророки называли другие пункты назначения: Германию, уже упоминавшуюся Африку, Кавказ, Сибирь и многие другие, кто из-за звучного названия, кто из-за вполне естественного желания туда попасть.

Через каждые пятьдесят минут марша делали привал на десять минут тут же, у дороги.

Доставалось только лошадям, тащившим наши полевые кухни; советских поваров, похоже, одолевала одна забота: точно в положенное время, где бы ни находилась колонна, накормить всех и всегда.

Мы ожидали чего угодно, только не этого.

Но даже когда стало известно, что наш дивизионный генерал во время переговоров о сдаче в плен вдруг узнал в советском командире — бывают же такие встречи! — своего однополчанина по первой мировой войне, — оба они латыши, и в начале своей офицерской карьеры служили в русской армии, — нам пришло в голову, что советский генерал в приказе о взятии нас в плен наверняка уж постарается представить всю верхушку нашей дивизии в самом выгодном свете, — нам все равно было не по себе.

Но однажды пронесся слух: *в пересыльном лагере нам всем выжгут клейма! Всем — без исключения!*

Слух упорно держался, ширился.

Так вот в чем причина более чем корректного, прямо-таки

дружелюбного обращения, — тем страшнее будет для нас замышляемая кара.

8

От Елгавы память сохранила множество маленьких серых палаток под огромным куполом неба. В одной из них жил я.

На следующее утро прибыли новенькие, они стояли снаружи, по ту сторону проволоки, и спрашивали:

— Вас уже клеймили?

Мы только улыбались с видом снисходительного превосходства.

С какой удивительной быстротой улетучивается страх!

Потребовались специалисты разных профессий, у меня не было никакой, я только знал наизусть несколько забавных стишков, а потому влез на повозку и стал их декламировать.

На другой день мы уже выступали целой концертной бригадой — с оркестром, певцами и акробатами.

Когда я в скором времени покидал лагерь в *неизвестном направлении,* среди пожимавших мне руки были и некоторые из недавних врагов, даривших мне на прощанье кто сигареты, а кто и кусочки сахару.

Я бы никогда не поверил, что попытка развеселить людей так высоко ценится ими.

Перевод Е. Михелевич.

Франц Фюман
В ЗАРОСЛЯХ ЕЖЕВИКИ

8 мая 1945 года. Капитуляция гитлеровского вермахта

В воскресенье 6 мая 1945 года я пил кофе дома, у родителей, и размышлял, можно ли мне остаться здесь еще и на понедельник, но потом решил все-таки уехать завтра рано утром. 9 мая после отпуска для поправления здоровья я должен был явиться в Дрезден, а три дня на дорогу до Дрездена было в обрез. Я вытянул правую ногу, — она почти совсем не болела. Осенью 1944 года при отступлении с Балкан я был ранен и после двух с половиной месяцев путешествия в поездах попал наконец в госпиталь в Оппельне. Так как за все время пути мне только два раза меняли повязку, рана воспалилась, в фиолетовой распухшей ноге образовались флегмональные свищи до самой кости. Мне собирались ампутировать ногу до колена, я уже дал согласие, и ее ампутировали бы, если бы не наступление русских на Висле: раненых срочно эвакуировали в Карлсбад. А там нашелся врач, который вылечил меня без помощи скальпеля. Это было зимой и весной 1945 года. В конце апреля меня выписали, хотя я еще хромал. Главный врач, который влюбился в мою сестру, по воле случая заброшенную в этот же госпиталь в качестве санитарки, дал мне, против всех ожиданий, десятидневный отпуск для поправления здоровья. Отпуск я провел у родителей, и сегодня он кончился. А может быть, остаться еще на денек? Я снова пересчитал все остановки до Дрездена и снова пришел к выводу: ехать надо завтра рано утром.

Но сейчас мне не хотелось думать об отъезде. Мы сидели в кабинете за круглым столом и пили кофе; за все время моего отпуска мы, с общего молчаливого согласия, ни словом не упомянули о войне и сейчас тоже не говорили о ней, хотя все чувствовали, что говорить о чем-нибудь другом невозможно. Тикали шварцвальдские часы, в клетке канарейка разбрызгивала воду из блюдечка. Радио играло блюз. Отец откашлялся, посмотрел на меня и, встретив мой взгляд, тотчас опустил глаза. Я уже решился было спросить, как расценивает он, офицер первой мировой войны, положение на фронте, но теперь, когда он смущенно откашлялся и вопросительно поглядел, я понял, что он от меня ждет ответа на этот вопрос, и я проговорил небрежно, как нечто само собой разумеющееся: «Секретное оружие», — и

откусил кусок пирога.

— Да, секретное оружие, — сказал отец и повторил это слово несколько раз шепотом, словно разговаривая сам с собой, — такая у него была привычка. Потом он резко встал, выключил радио и подошел к окну.

Мать закрыла лицо руками и начала всхлипывать. Потом она убежала на кухню. Сквозь раскрытое окно, надувая занавески, вливался в комнату майский воздух. Пахло свежей зеленью и землей. Небо было совсем голубым. Я подошел к отцу, стоявшему у окна, и молча поглядел наружу. Словно вспаханный талыми водами, низвергающимися вниз, в долину, вздымался густо-коричневый, с сочной зеленью склон, и там, где он вливался в чистую голубизну неба, торчали две гранитные скалы, как два рога на крутом лбу. На улице было тихо, дома уютно нежились в солнечном свете.

— Как прекрасен мог бы быть мир! — прошептал отец и оперся рукой о подоконник. Деревянный подоконник затрещал. — Рай божий! — прошептал грузный, приземистый человек с поседевшей головой. — Рай божий, — прошептал он и глубоко вдохнул воздух, насыщенный запахом полей, словно в последний раз ощущал его вкус, и, не обращая на меня внимания, продолжал тихо говорить про райский сад, каким могла бы быть эта земля, и про ад, которым она всегда была только потому, что мир не хотел позволить немцам ничего, не позволял даже наслаждаться ясным солнечным светом. Взлетел жаворонок. Отец затряс головой, стукнул по подоконнику так, что зазвенели стекла, и взревел, как бык, но его рев тотчас же перешел в шепот. — Чем заслужила Германия, чтобы весь мир дважды топтал ее священную землю, поражал ее огнем и мечом, клеветой и пожаром? — И он сам почти неслышным шепотом ответил на этот вопрос: — Ведь мы же требовали только права на жизнь и только ту землю, которая была нашей, только объединения нашей германской нации, — шептал он, — ничего более, а теперь? — Он замолчал и влажными глазами посмотрел вверх, на небо.

Я думал, что прежде, чем наступит конец, разверзнутся небеса и явится бог, дабы одним движением бровей сбросить в океан красные орды.

— Проиграть войну? Это невозможно. — Отец глубоко вздохнул и снова сел к столу.

Я налил кофе. Из кухни вошла мать с заплаканными глазами и положила передо мной еще кусок пирога.

— Будет секретное оружие, и все пойдет на лад, ведь всегда все налаживалось, — уверенно сказал я.

— Почему же они до сих пор не пускают его в ход? —

испуганно воскликнула мать.

Я пожал плечами. Я тоже этого не знал.

Потом, как всегда по воскресеньям, когда собиралась вместе большая часть семьи, мы сыграли три партии в «Не сердись». Мы бросали кубик и молча двигали зеленые, красные и желтые фишки. У меня были зеленые, и только я сбил стоявшую уже совсем у цели красную, как сам был выведен из игры желтой фишкой отца. Теперь на поле господствовали желтые.

— Вот видите! — торжествующе сказал отец. Вдруг он взглянул на доску, на фишку, которую только что передвинул, изо всей силы ударил себя ладонью по лбу и закричал: — Идиот! Какой я идиот!

Мы с изумлением посмотрели на него. Канарейка испугалась и жалобно пискнула.

— Какой я идиот! — повторил он снова и опять хлопнул себя по лбу. — Где были мои глаза! — кричал он. Потом он сказал, что все яснее ясного, а он ничего не сумел увидеть. — Мы, — сказал он, — следили только за наступлением русских: так кролик смотрит в глаза удава, — мы не видели, что у нас за спиной Америка, что она уже готова броситься на красных, а тут-то и есть главный шанс Германии.

Я посмотрел на доску с красными, желтыми и зелеными фишками и тоже вдруг все понял. Шумел майский ветер; я глубоко вздохнул.

— Ты правда так думаешь? — нерешительно спросила мать.

Отец вскочил и возбужденно заговорил о том, что на это указывают все признаки: быстрое продвижение американцев на западе, упорное сопротивление наших войск на востоке. Мы выжидаем, пока русские и американцы столкнутся по-настоящему. Тут он вдруг снова хлопнул себя рукой по лбу и сказал, что теперь он понял, почему мы до сих пор не применили секретного оружия: мы не хотим зря опустошать немецкие земли, американцы отвоюют их для нас, в этом ключ к пониманию теперешнего положения дел. «Ами» и русские столкнутся с невероятной силой, так что искры посыплются, и тогда Америка со своими людьми и ресурсами, со своими бомбами и танками вклинится в большевистскую Россию, как нож входит в масло, и вся Европа будет на ее стороне, как некогда была на нашей.

— Бог не допустит, чтобы случилось иначе, — продолжал отец, — победа русских в этой войне означала бы гибель всего доброго, что есть на земле. — Он тяжело навалился на край стола; глаза его сверкали.

— Дай-то бог, — прошептала мать.

Небо было как синий шелк.

На следующее утро я распростился со всеми и отправился на вокзал, который был далеко за городом. Начинался грозовой майский день, с гор дул фён, парило, луга источали аромат. На выходе из города меня остановил патруль; его командир, седой капитан, показался мне знакомым. Он изумленно посмотрел на мое отпускное свидетельство и молча протянул его своим спутникам, двум таким же седым унтер-офицерам. Оба унтер-офицера тоже посмотрели на мое свидетельство как на что-то потустороннее.

— Н-да, приятель, — сказал капитан, разглядывая меня, словно выходца с того света. Потом он спросил, неужели за все время моего пути из Карлсбада сюда через зону, которой командует фельдмаршал Шернер, меня ни разу не остановил патруль полевой жандармерии. Я ответил, что нет, так оно и было на самом деле. Капитан покачал головой и снова уставился на мое отпускное свидетельство. Мне неслыханно повезло, сказал он, что я попался с такими документами именно ему, старому другу моего отца; всякий другой вздернул бы меня как дезертира на первом суку. Я испугался и сказал, что ведь мое отпускное свидетельство в полном порядке, на что капитан возразил, что это-то и есть самое удивительное, поскольку уже несколько месяцев, как все отпуска строго-настрого запрещены. Затем он разорвал мою бумагу на мелкие клочки, затоптал их каблуком в землю и выписал мне новое удостоверение, в котором указывалось, что, согласно установленному порядку, я доложил о себе как о солдате, отбившемся от своей части, и теперь следую по железной дороге к ближайшему сборному пункту.

— Теперь отправляйтесь с богом, да поживей! — сказал он.

Я попрощался и, все еще слегка прихрамывая, пошел на вокзал. Что было потом, я помню плохо. Помню, что, против ожидания, в вагоне было свободно, мне даже удалось сесть у окна; что колеса поезда стучали все время в одном ритме, а телеграфные провода за окном то опускались, то снова поднимались. Потом поезд остановился в чистом поле; нам сказали, что поврежден путь и дальше придется идти пешком. Пассажиры, главным образом солдаты, вышли из вагонов. Я поискал знакомых, но никого не нашел; те, кто строился здесь в некоторое подобие походной колонны, были большей частью пожилые мужчины с мрачными лицами. Среди них было несколько венгров, маленьких, худых фигурок в мундирах цвета хаки. В руках они держали узелки, один был в дырявых ботинках, другой в рваной шинели — нищий народ! Мы тронулись в путь. Справа от меня шел ефрейтор-сапер, слева — унтер-фельдфебель — пехотинец, а впереди — застиранный ультрамарин моряков,

глинисто-коричневая одежда солдат рабочей команды, черная форма — танкисты, коричневато-серая — части «Тодт»[17], зеленая — жандармерия, серо-зелено-красно-коричневые пятна маскировочных плащ-палаток и посеревший от стирок белесый тик с повязками фольксштурма.

Я с удивлением подумал, что эта мешанина и есть теперешний вермахт. Мы прошагали около часа, вошли в маленький городок и свернули на площадь. Площадь была совершенно пустынной, перед лавками и ларьками не видно было ни одной повозки. Железная ферма путепровода на двух опорах чернела на фоне неба, как гильотина. Вдруг по фасаду одного из зданий, падая сверху, бесшумно развернулось полотнище огромного флага. На нем не было свастики. Оно было голубого, белого и красного цвета. В чем дело? Что случилось? Флаг развернулся, и сразу же поднялся шум. За площадью толпились и шумели люди, до нас доносились их крики и топот. По рельсам наверху пробежали трое, они припали к земле, и вдруг застрочил пулемет, а на площади запылил горячий гравий. Я бросился за ближайшую колонну, тоже припал к земле, стянул винтовку с плеча, зарядил и выстрелил, целясь в пулемет, но по площади уже катились танки, путепровод взлетел на воздух, трещина расколола фасад, на котором висело знамя. В громе и треске страшно прозвучал пронзительный крик, взрыв смахнул колоннаду. И вдруг прямо передо мной возник человек, огромный, черный, не в сапогах, а в ботинках, и закричал:

— Вниз! Занять оборону перед мостом!

Я выскочил из укрытия и помчался к мосту, впереди меня бежал матрос и еще кто-то. Этот кто-то вдруг упал, но мы добежали почти до моста и бросились на землю. На мосту никого не было. Внизу журчал ручей, по зеленой воде плыли сломанные ветки. Я слышал пушечные залпы и частые пулеметные очереди. Шум удалялся. По ручью проплыла рабочая фуражка. Я посмотрел на площадь: над развалинами кружились облака пыли, от чешского флага остались одни лохмотья. Это было восстание. Они хотели нанести нам удар в спину, но мы еще раз победили. Я смотрел на болтающиеся лохмотья флага. Мы постояли немного. Шум постепенно замер, затем кто-то принял над нами командование, и мы влились в состав части, которая называлась «боевая группа Левецова».

Я вспоминаю голое помещение, в котором мы, новоприбывшие, ждали до вечера и которое нам не разрешили покидать. У ворот стояли усиленные посты с пулеметами, по двору ходили гестаповцы; говорили, что якобы вчера один взвод нашей боевой группы застрелил своего лейтенанта и

дезертировал. Я расценил этот слух как одну из тех легенд, которые настолько фантастичны, что не могут быть выдуманы. Почему бы не случиться и такому, если кругом творится невероятное: казни, насилия, заговоры, убийства. Время волков и оборотней. Невероятные вещи творятся кругом: один рассказывал, что американцы стреляли по сибирскому пехотному полку; другой — что американцы уже заняли Прагу и теперь форсированным маршем приближаются к нашим позициям; третий утверждал, что через несколько часов мы будем сражаться бок о бок с американцами, потому что Богемию и Моравию американец не отдаст — это его награда за второй фронт. Кто-то спросил, где мы теперь, собственно, находимся, и я достал свой карманный календарик с картой мира, но она нам не помогла — Богемия была на ней только точкой не больше булавочной головки.

Темнело. Нам выдали картофельный суп, мы съели его в сумерках. Говорили, что электростанцию взорвали повстанцы. Мы сидели в сумерках и думали об американцах, и нам казалось, что издалека, очень издалека доносится гул артиллерийской канонады. А когда мы не думали об американцах, мы не думали ни о чем. Потом пришел унтер-офицер и приказал нам следовать за ним: прибыло какое-то важное начальство из штаба армии и желает поговорить с нами. Мы долго топали по темным коридорам и попали наконец в сводчатый подвал, где светили две коптилки. Мы остановились, нас теснили другие взводы, мы стояли, плотно прижавшись друг к другу, утрамбовавшись, как живые булыжники; потом открылась какая-то дверь, раздалась команда: «Внимание, смирно!» Я стоял далеко сзади и ничего не видел, слышал только, как скрипучий голос отдал рапорт, а масляный голос поблагодарил и сказал, что перед нами выступит господин полковник Паули из штаба ВВС.

Над передними рядами поднялось бесформенное одутловатое лицо: вероятно, полковник встал на табуретку. Его глаза изучали нас. Я увидел колеблющуюся тень от его головы на арке свода, она походила на изображение головы мамонта в пещере первобытного охотника. Полковник заговорил. Он говорил тихо, запинаясь, не очень внятно, иногда казалось даже, что он шепчет, но то, что он говорил своим негромким голосом, заставило нас вздрогнуть: он говорил о предстоящей победе. В ближайшие дни, а может быть, даже часы решится исход войны, мы накануне решительного поворота событий. Полковник говорил медленно, и совсем медленно выговорил он слова «секретное оружие».

В подвале царила тишина, в коптилках плавали язычки пламени, царила мертвая тишина, и я видел, как падают с неба,

подобно грохочущим теням, магические бомбы, секретное оружие, гнев Михаила-архангела. Полковник заговорил быстрее. Он дает нам честное офицерское слово, что видел секретное оружие собственными глазами, и сердце его замерло, когда ему сообщили, какой разрушительной силой оно обладает. Он рассказывал, — и тут голос его понизился до таинственного шепота, — что секретное оружие способно поражать на сотни километров, уничтожая все живое, и командование уже завтра введет его в действие. Но перед этим мы должны выполнить еще одну боевую задачу: на моравской границе в «котле» находятся наши товарищи; если мы их не вызволим, то завтра, когда введут в дело секретное оружие, они будут уничтожены. Язычки пламени покачивались в снарядных гильзах, наполненных салом.

— Наша победа неотвратима, друзья! — закричал полковник. Вдруг он выбросил руку вверх и крикнул: — Зиг хайль, друзья! — Его тень колыхалась на штукатурке стены.

Мы прокричали три раза: «Зиг хайль!» — и в подвале отдалось эхо. В этот момент я, как никогда, был уверен в нашей победе.

Затем мы протопали по темным коридорам во двор, где стояли грузовики. Влезли в них, было очень тесно, и мы сидели почти на коленях друг у друга. Мы курили наши последние сигареты, все молчали; мимо плыла ночь, полная аромата цветущих вишен и папоротника, ясная, звездная ночь. Мы курили, смотрели на звезды и молчали. Ехали быстро, ветер свистел в ушах. Мне удалось захватить место в переднем левом углу, там можно было прислониться к борту машины и поэтому было удобнее, чем в середине, хотя и холоднее, но мне холод не мешал. Сверкали звезды, я сидел в углу, скорчившись на ранце, курил последнюю сигарету и радовался, что я снова с товарищами, снова в деле, а не дома, где были только вздохи, красные глаза, жалобы да слезы. Я думал, что завтра, когда начнет действовать секретное оружие, содрогнется весь мир. Грузовик сбавил скорость, машины теснились на дороге, грузовик к грузовику, между ними танки, штабные автомобили, мотоциклы.

До сих пор все двигались на юго-восток, теперь появились машины, идущие на северо-запад, — сначала по капле, потом ручьями, а потом встречным потоком. Грузовики цеплялись бортами, слышалась ругань; движение колонны застопорилось, мы еле плелись.

Так мы двигались около часа. Кто-то из встречной машины, идущей на запад, крикнул:

— Куда это вы собрались?

— В Моравию! — крикнул я в ответ.

Но машина уже прошла мимо. Ночь была светлая, и я видел яблони и липы на краю шоссе, на горизонте мягко подымались холмы, мягкие волны холмов, а на лугах колыхался белый туман. Бархатная ночь. Я глубоко вдыхал воздух, и вдруг все показалось мне призрачным: нирвана, бархатная страна мечты; действительность исчезла, ничего реального не было больше. Из встречных машин нам что-то кричали, я не мог разобрать, что кричат, какое-то странное слово, его звуки таяли в воздухе. Потом кто-то потряс меня за плечо, я с трудом проснулся. Во рту был противный вкус, я устало огляделся. Мы стояли на лесной дороге. Была глубокая ночь, ребята храпели, но мой сосед, тридцатилетний ефрейтор, не спал. Это он растолкал меня и, когда я проснулся, сделал мне знак прислушаться. Снаружи у машины шептались взволнованные голоса.

— Это же теперь бессмысленно, — говорил один голос.

— А вы уверены, что это не вражеская пропаганда? — возражал второй.

Я приник к щелочке в борту машины. Два ротмистра шли вдоль колонны, курили и разговаривали шепотом.

— Кто же теперь будет отдавать приказы? — спросил первый, второй пожал плечами.

— Они хотят нас продать, парень, — сказал ефрейтор. Я удивленно спросил, как это, а ефрейтор ответил, что нечего мне прикидываться дурачком, я знаю не хуже, чем он, что война кончилась и что господа офицеры хотят подвести нас под русские пули, чтобы самим целыми и невредимыми уйти к «ами». Я вдруг понял, о чем нам кричали из грузовиков, которые ехали на запад; мной овладело страшное волнение, меня зазнобило. Время волков и оборотней! Ефрейтор вскочил. Офицеры скрылись из виду. Я буравил взглядом лес, на краю серели сосны, за ними тянулась темнота. А ведь ночь была светлой. Время волков и оборотней! Я вспомнил о парнях, которые застрелили своего лейтенанта и скрылись, и вдруг подумал, что теперь они свободны, свободны в богемских лесах, густых, с ущельями и пропастями. Я почувствовал, как на меня огромными шагами надвигается что-то грозное: час, когда я должен решать за себя сам.

Косуля перемахнула через дорогу.

— Когда офицеры уйдут, бежим, — шепнул ефрейтор.

Я кивнул. Мое сердце громко стучало. Время волков и оборотней. Свобода близка. Ротмистры вернулись.

— Поворачивай! — закричал один из них шоферу.

Моторы взревели. Грузовики выбирались из леса. Спавшие

проснулись.

— Что там такое? — спросил кто-то, протирая глаза.

— Мы едем домой, к маме, старина, — сказал мой друг.

Грузовики шли обратно. Забрезжило утро. Закричали птицы. Холод был собачий. Мы проезжали какой-то город. Рыночная площадь кишела народом, вокруг высокого костра толпились люди. Я приподнялся, чтобы получше разглядеть, и увидел мешки, которые горели, треща и взрываясь, как порох; несколько молодых солдат ворочали длинными палками в стреляющем огне, и время от времени кто-нибудь из них швырял в огонь бутылку, из которой тотчас же вырывалось пламя.

— Эти идиоты сжигают муку! — крикнул ефрейтор.

— А лучше, чтобы ее русские сожрали? — спросил мой сосед, шестидесятилетний тирольский стрелок.

— А мы, значит, будем жрать дерьмо! — бешено заорал я. Тут люди на площади закричали и бросились в разные стороны, голубой огонь подползал к их ногам; наша машина сделала отчаянный рывок, и рынок остался позади. Мы проехали еще немного, а потом вышли к большому шоссе, которое вело на запад. По этому шоссе, упираясь радиаторами в выхлопные трубы, цепляясь передними колесами за задние, ползли машины — поток вклинившихся и вцепившихся друг в друга машин, который заполнял шоссе, как поток талых вод заполняет в половодье русло реки. Со всех сторон стекались и текли на запад грузовики, танки, штабные автомобили, автобусы, мотоциклы; военные машины всех видов текли на запад, шоссе было забито катящимися машинами, протиснуться здесь было немыслимо даже мотоциклу. По полю бежали группы солдат. В придорожной канаве лежал фаустпатрон.

— Офицеры, вперед! — ревел какой-то фельдфебель.

Но ни один офицер не появлялся.

— Они удрали! — закричал пронзительный голос.

Колонна превратилась в кипящий поток. Корпуса машин сотрясались. Я вдруг почувствовал страх. Машины наводнили шоссе, их поток начал переливаться через край. Искаженные лица, орущие рты. Я едва успел схватить ранец и винтовку, как задыхающаяся толпа понесла меня к большому шоссе. Меня уносило. Чья-то рука крепко вцепилась в мое плечо. Это был мой друг.

— У тебя есть сигареты, или шоколад, или еще что-нибудь? — закричал он мне в ухо.

— Коньяк, — ответил я и понял, что он имел в виду.

Мы кулаками проложили себе дорогу, пробежали немного вдоль шоссе и вскочили на подножку крытого грузовика.

— Слезай, стрелять буду! — заорал водитель, но я уже отвинтил крышку моей полевой фляги и сунул фляжку ему под нос.

Водитель потянул носом воздух, потом спросил:

— Полная?..

— Полная, — ответил я, завернул крышку и встряхнул флягу; в ней слабо булькнуло.

— Лезьте наверх, да поживей, — сказал водитель и засунул флягу за пазуху. — Быстро, и чтобы никто вас не видел, там имущество штаба армии.

— Имущество штаба? А ты еще грабишь нас, бедных? — возмутился ефрейтор.

Водитель угрюмо мотнул головой.

— Да нет, там не то, что вы думаете. Картины там и прочее в этом роде, — сказал он.

Мы забрались под брезент и устроились на запломбированных ящиках. Было темно, только сквозь отверстие в брезенте падал лучик света. Грузовик загромыхал дальше. Мы проехали всего несколько минут, как почувствовали сильный толчок. Машина затормозила. Мы покатились по кузову, затрещало дерево, заскрежетало железо, раздались крики, загремели выстрелы. Я рванул брезент и увидел, что мы врезались в переднюю машину, а вокруг снова лес. Дверца машины открыта настежь, водитель сбежал. Из всех машин выскакивают солдаты и бегут в лес. Пока я смотрел, рядом с нами остановился покрытый коркой грязи мотоцикл.

Мотоциклист в серо-коричневой форме с красным на фуражке соскочил на землю и, размахивая автоматом, закричал:

— Гитлер капут, камрад, бросай винтовку, война капут!

Мне показалось, что я слышу голос самого сатаны. Я скатился с машины и бросился в лес мимо русского, который пытался схватить меня. В этот момент я был совершенно твердо уверен, что все это мне только снится. Все это был только сон: я бежал во сне; мне снилось, что я бегу через мрачный сосновый бор, и лицо мне царапают ветки и иглы, и я ничего не чувствовал, совсем ничего, потому что это был только сон, и я лежал в постели, и пора было в школу, и вот-вот зазвонит будильник. Еще пять минут, и я очнусь от этого кошмара, проснусь в солнечном свете, и все будет как прежде: под окном цветущая груша, по небу плывут облака, нет больше боя и шума, нет войны и сражений, благословенный мир; и тут вдруг раздался звон, звон будильника — з-з-зз-зз, — он пронзительно звонил в моем сне, лоб раскалывался от боли, мимо мчались призраки, звучали призрачные вопли. Я стоял перед обломанной веткой дерева и

ощупывал лоб, я увидел кровь на руке. Бежать дальше, только дальше, — это не сон, теперь сзади нас слышались орудийные залпы, дальше, только дальше, только прочь от русских. Я бежал дальше, лес поредел. Я бежал медленнее, кругом во все стороны разбегались призраки. Лицо мое горело, словно я упал лицом вниз в колючий кустарник. Гремели залпы. Вдруг я остался один. Я бежал, задыхаясь, дальше, только дальше. Я бежал и уже не чувствовал своего тела, я мог бы так бежать вечность. Вдруг моя нога заскользила, на дороге лежало что-то блестящее, я поскользнулся, блестящее было металлом, я упал на кучу нагрудных знаков, которые носила полевая жандармерия. Металлические щитки звенели, я погружался в них, как царь Мидас в красное золото, и был выше любого царя. Бляхи жандармерии. «Те, кто носил эти бляхи, были равны богам», — подумал я. И вот эти божественные знаки сброшены, блестящие щитки превратились в мусор, в позорные струпья, а те, кто их носил когда-то, блуждают по лесу, и жесть не позвякивает у них на груди. Они теперь никого не могут схватить, никого не могут повесить на первом суку; теперь они сами мчатся, преследуемые, сквозь чащу, загнанные гончие, и — гляди-ка — здесь валяются и знаки различия: офицерские погоны и офицерские звезды, — вот капитан, а вот и майор и полковник. Теперь все они значат не больше, чем я… Теперь я уже не солдат, я свободен, и вдруг я захохотал; я лежал на куче нагрудных блях, держал в руке полковничий погон и хохотал, как безумный, а вокруг гремели орудийные залпы. Вдруг ветка сирени, толщиной в палец, упала, словно срезанная, на землю рядом со мной. Я перестал хохотать. Рядом была яма, я залез в нее и, лежа в яме на мягком мху, почувствовал, что не смогу больше сделать ни шагу. Только тут я заметил, что забыл ранец и винтовку в машине. Ранец ничего, а вот винтовка… что я буду теперь делать, если придут русские? Вдруг в путанице ветвей мне почудились повешенные крестьяне с обледенелыми босыми ногами; я снова вскочил и помчался по лесу. Лес кончился сразу. Я увидел поле, на нем стояли солдаты, подняв руки вверх: пленные! Я бросился назад и увидел, что солдаты медленно опускают руки и молча садятся на землю, как стая ворон. Потом я увидел русского в длинной серо-коричневой шинели и с винтовкой с примкнутым штыком. Тень сосен упала на поле. Я все время бежал на запад, направление было правильным, значит, и на западе уже были русские. Путь к свободе отрезан!

«Это конец», — подумал я, как загнанный зверь. В лесу трещали выстрелы. Ясно, русские прочесывают лес, у них железный гребень, и им они прочесывают лес, а я вошь, которая

запуталась в волосах леса. Я достал карманный нож и открыл его. Заблестело лезвие; очень ли будет больно? Я вошь, но живым они меня не возьмут. Я провел острием по ногтю, поскоблил немножко. Нож был тупым. Я уставился на лезвие: кусок серой стали с круглыми пятнами ржавчины. Ничего не выйдет, только зря буду мучиться. Пленные в поле зажгли костер. А если русские совсем другие? Если они сохранят нам жизнь? А может быть, отпустят на свободу? Чепуха. Это просто дешевая маскировка: гремят выстрелы — вот действительность! Я заставил себя подняться на ноги. Если уж суждено мне умереть, так пусть я паду от честной пули. Качаясь, я пошел по открытой просеке. Кто-то тихо позвал: «Эй!» Я вздрогнул, перепуганный насмерть, и огляделся вокруг: на просеке никого не было. Кто-то снова тихо позвал. Зов доносился из зарослей ежевики, я узнал голос ефрейтора. Я подполз к зарослям, они казались непроходимыми, — заграждение из гибких петель и колючих шипов. Все равно я полз. Кожа и одежда рвались в клочки, но вот я увидел в зелени глубокую яму.

— Здесь нас никто не найдет, — сказал ефрейтор. Его лицо было расцарапано, на шее и на руках запеклась кровь.

Я прохрипел, что русские уже стоят к западу от леса, мой друг молча кивнул головой. Я смотрел в его растерзанное лицо, и искорка надежды снова зажглась в моем сердце: теперь я хоть не один.

— Выше голову! — сказал мой друг. — Пока мы можем с… еще не все потеряно. — И он шепотом объяснил мне свой план. Днем мы будем прятаться, а двигаться только ночью. Американец стоит в сорока километрах отсюда, сам черт должен вмешаться, чтобы нам это не удалось! Пусть нам даже придется все ночи напролет ползти на животе, как змеям.

— А потом? — беззвучно спросил я.

Ефрейтор свистнул сквозь зубы.

— Германия лежит в дерьме, и в ближайшую тысячу лет ничего с этим не поделаешь, — сказал он.

Воздух в яме казался зеленым.

— Ну? — прошептал я лихорадочно.

— Мир велик, — сказал ефрейтор и вытащил свой портсигар. Он зажал сигарету между пальцами, покрутил и наконец засунул в рот, но не зажег ее. — Мир велик, а Германия в дерьме, — сказал он и, пососав сигарету, добавил, что запишется в Иностранный легион или к англичанам в колониальные войска. Скоро будет спрос на немецких солдат. Немцы — лучшие солдаты в мире и единственные, имеющие опыт войны на Востоке. Он сказал, что сам принимал во всем этом участие с тридцать

шестого года, и перечислил: Австрия, Судеты, Польша, Франция, Югославия, Восточный фронт, Италия, — он в армии уже десятый год. И я подумал, почему же он всего-навсего ефрейтор. По правде говоря, рассказывал ефрейтор, когда-то прежде он хотел учиться, изучать философию и историю, но теперь ему плевать на все это, теперь он стал ландскнехтом, им и останется.

Выстрелы умолкли, но снова раздался шум: мальчики в солдатской форме промчались мимо зарослей ежевики к опушке леса и сейчас же бросились обратно, как будто за ними кто-то гнался. Я подумал о моих товарищах, которые остались на поляне. Их, конечно, группами уводят в лес и и где-нибудь там расстреливают, — лес велик.

— Германия в дерьме, — сказал ефрейтор. Он снял сапоги, положил их под голову и добавил мечтательно: — Целые годы мы жили, как боги, я ни о чем не жалею. — И он стал вспоминать, какой была жизнь на этой войне: — Мы прошли господами по всей земле, и народы, сняв шапки, лежали перед нами во прахе; мы жили, как боги, как фараоны, топтали мы ногами наших рабов, мы глядели врагу прямо в глаза и всаживали нож в его тело, мы швыряли их женщин на землю и насиловали их, держа за горло, пили шампанское в Бордо и Париже, где в борделях зеркальные полы. Да, эти дни мы прожили, как боги, и жалеть нам не о чем, и не в чем нам каяться!

Я слушал его, затаив дыхание, и думал, что война кончилась, что для моего друга она была как счастливый жребий для игрока, что Германия теперь действительно в дерьме. Ее превратят в картофельное поле, так они решили в Ялте. Картофельное поле. Женщин — в публичные дома, мальчиков и мужчин — в Сибирь на свинцовые рудники, и я подумал, что туристы со всего света будут ходить по разрушенным дотла городам Германии, и бойкие гиды будут выкрикивать: «Леди и джентльмены, перед вами самые большие в мире руины, развалины Кельнского собора, а вот здесь развалины королевского замка в Аахене». Тут мне пришло в голову, что, кроме Бреслау и Оппельна, я в Германии ничего не знаю: ни Кельна, ни Аахена, ни Мозеля, ни Рейна. Я всегда хотел одного: «домой, в рейх», а теперь рейх в дерьме. Собственно говоря, какое мне до этого дело, я никогда не жил в Германии, я чехословак, я всегда был чехословаком. Меня все это не касается, а то, что я сижу в этой яме, — недоразумение. Мне незачем идти в Иностранный легион, война кончилась, я могу отправляться домой, я не имею никакого отношения к Германии, никто ничего не может мне сделать. Но потом я подумал, что русские никогда не считались с международным правом, и для них не будет различия между немцами из Германии, которые

начали войну, и нами, которые только принимали в ней участие. И я подумал, что прежде всего мне надо добраться до американцев — сорок километров, один ночной переход, не больше, последний переход в этой войне. Ефрейтор завернулся в свое одеяло. Мы затаились в ежевике. Германия лежала в дерьме. По лесу бродили солдаты, все еще раздавались выстрелы; может быть, они уже и вправду стреляли друг в друга, американцы и русские, и это был уже не последний день второй, а первый день третьей мировой войны, и Германия, моя священная Германия, завоюет еще в конце концов весь мир.

Перевод Э. Львовой.

Франц Фюман
СЛУХИ

Июль 1945 года. Потсдамская конференция

Я ничего не знал о встрече премьеров Америки, Англии и Советского Союза, собравшихся в Потсдаме, чтобы решить послевоенные судьбы Германии, а если б и знал, вряд ли это меня заинтересовало бы: Германия побеждена, теперь ее уничтожат, мы всю жизнь проведем в плену, и я примирился с такой участью. Пробраться к американцам мне не удалось. Три ночи мы с моим другом бродили по лесам, пытаясь пробиться на запад, на юг и, наконец, на север. На третий день мой друг, ефрейтор, попался полевым жандармам генерала Шернера, который отдал приказ продолжать борьбу, и жандармы повесили его как дезертира на первом же суку. Я видел это издалека, с вершины холма, но ничем не мог ему помочь. Мы пошли с ним двумя разными дорогами, чтобы разведать путь. Вскоре после этого меня задержал русский патруль, и я попал в многотысячную колонну, медленно тянувшуюся на восток, и я тоже поплелся на восток и спрашивал себя, не лучше ли скорая смерть в петле, чем ужасы плена. Я плелся на восток, и постепенно все вопросы умерли во мне, и я больше ни о чем не думал.

Сверкала голубая вода, вдалеке прыгали тени — не дельфины ли? Я туда не смотрел, но видел это. Я лежал с товарищами на палубе, ни о чем не думал и слушал вальсы: «Голубой Дунай», и «Вена, Вена, лишь ты одна», и «Это ты, мое щедрое счастье». Я слышал чересчур громкие голоса певцов и певиц, они прерывались всегда на одном и том же месте: вероятно, на пластинке была царапина, — я слушал их, как плеск волн и свист ветра, и не думал о том, для чего капитан заводит пластинки с венскими вальсами: хочет доставить нам удовольствие или помучить воспоминаниями об ушедших днях? Я не думал ни о чем, я лежал в полусне. Почти полтора месяца мы ютились в товарном поезде, по двадцать четыре человека в вагоне, и катили на юго-восток, а сейчас мы лежали на палубе парохода, опьяненные морским воздухом, солнечным теплом и блаженным чувством сытости. Во время путешествия по железной дороге я все время страшно хотел есть, но теперь я был сыт. Я съел хлеб и рыбу: треть буханки хлеба, большой кусок вяленой рыбы и десять кусков сахару; хотя нас предупредили, что этого пайка нам

должно хватить до лагеря, мне, как и всем остальным, было плевать на это. Я растянулся на палубе и съел весь свой хлеб, всю рыбу и весь сахар, запил водой, вдохнул морского воздуха, и вот теперь я был сыт и словно пьян, а пароход плыл по Черному морю. «В волнах вальса кружусь и кружусь», — пел женский голос с фок-мачты. Небо сияло чистейшей синевой. Далеко в море сверкали быстрые тени дельфинов.

Мне кажется, мы плыли так два дня и две ночи, точно сказать не могу: все это время продремал. Я не помню, как назывался пароход, и как выглядел капитан, и каким образом мы погрузились на борт. Помню только, что уже на борту возник спор между капитаном и начальником конвоя, кажется, по поводу того, где нам находиться — на палубе или в трюме; помню, что потом мы растянулись на досках палубы и съели весь свой паек. Потом заиграли вальсы, и мир, заключенный между небом и морем, начали застилать сумерки, и я помню только то, что было, когда мы приблизились к земле.

Я вспоминаю, как кто-то закричал: «Земля!» Я слышал крик, но продолжал лежать, и мне кажется, я не видел, как земля подплывала и становилась все больше. Я увидел ее, только когда она вошла в поле моего зрения. Я помню, что она заполнила все пространство, которое мог охватить мой взгляд, и ворвалась в меня, как поток врывается в узкую долину: коричнево-зеленым коленом великана круглилась под светлым стеклянным небом гора, по ее склону грязными комьями снега взбегал вверх город. Белизна его домов зияла дырами и тускло светилась в полуденном солнце — разбитая сказка на коричневом горном склоне, а в синей воде застыл ржавый остов. Железный скелет, похожий на вытянутые скобы плоских ворот, погруженных в море. Как острые рыбьи кости, вонзались в небо четыре стержня, торчащих из его бока. Рядом лежала разбитая корма какого-то корабля. Наш пароход еле двигался, гавань была полна обломков. За разбитой кормой виднелись куски бетона, словно огромная галька, подальше — мачта, вонзившаяся в фюзеляж самолета, а сквозь звуки вальсов из города пробивался тяжелый запах холодного дыма. Я вскочил на ноги и с ужасом смотрел на город и гавань. Вода стала грязной, на ней плавали пестрые пятна нефти. Затаив дыхание, не произнося ни слова, мы смотрели на город — разбитую раковину, которая покрывала береговой склон своими выпуклыми створками. Не отводя глаз, мы смотрели на город, а вальс «Вена, Вена, лишь ты одна» все звучал и звучал. Я сидел в отеле «Захэр» и видел мерцающее лицо в хрустале зеркала; зеркало разбилось, и город лежал в осколках, я глядел на него, не отводя глаз, и у меня вырвалось: «Господи!» Раздался

чей-то смех — мне показалось, что он доносится издалека.

Пароход остановился, по его корпусу пробежала дрожь, вокруг торчали мачты, дома в гавани были распахнуты настежь и пробиты насквозь, от крыши до основания; и я, содрогаясь, подумал, что все это сделала война. Война прошла по земле, словно бородатый угольщик с железной кочергой; он ударил своей кочергой по городу и по гавани, и остались разбитые корабли и опустошенный город. Здесь прошла война — угольщик с железной кочергой, посланный каким-то божеством. Что значил рядом с этим человек!

Внезапно я почувствовал тупой голод. Пароход медленно подплывал к молу. Мол был завален мусором и щебнем. Мы сошли на берег, и, пока мы строились, распространился слух: каждому транспорту военнопленных дадут разрушенный город, который они должны будут отстроить. Наш город здесь, перед нами, — это Новороссийск, и, когда мы его отстроим, нас всех отпустят домой. Слух волнами расходился по нашим рядам, как расходится звук по воздуху, он гудел у меня в ушах, а я смотрел на город и думал в отчаянье: «Нам никогда этого не сделать». Мы стояли на молу и молча смотрели на город, мой взгляд переходил с дома на дом; я видел балки, как маятники, качавшиеся на железных опорах, лестничные марши, стены с зияющими, словно разинутые рты, дырами, расколотые трещинами этажи, груды битого кирпича и беспомощно думал: сколько же понадобится времени, чтобы перетаскать и выбросить в море хоть одну такую груду? А потом надо будет строить дом за домом, улицу за улицей, квартал за кварталом, — да ведь это не под силу даже целому народу, а мы всего-навсего транспорт военнопленных, доставленный сюда слабеньким пароходиком! Я смотрел на город, на обломки и думал, что обречен всю жизнь тянуть лямку среди этого мусора, убирать обломки Новороссийска, толкать тачку, как навеки прикованный к ней каторжник. И вдруг я подумал, что это, в сущности, справедливо. Но эта мысль возникла в мозгу на сотую долю секунды — я тотчас же забыл о ней. Она, словно молния, вспыхнула во мраке моего сознания, чтобы сразу погаснуть, и лишь спустя много месяцев с большим трудом снова вошла в меня. «Это, в сущности, справедливо!» — подумал я и сейчас же позабыл об этом.

В животе у меня бурчало. Мы неуверенно ступили на берег. Мусор на улицах кто-то сгреб в сторону, от каменных стен шел смрад. Мы медленно побрели дальше. Я опустил голову, мне не хотелось смотреть на развалины. Война слепо и долго била вокруг своей железной кочергой; и я подумал: за сколько времени можно построить стену дома — за день, за неделю, за месяц?

Этого я не знал. Мы брели дальше. Вдруг возле груды щебня появилась старуха. Она смотрела на нас. Я опустил глаза и стал смотреть на пятки идущего впереди, на медленно плетущиеся сапоги, один из них был разорван, кожа на нем лопнула. Мне показалось вдруг, что сейчас они вылезут из развалин, бросятся на нас и убьют, — они, те, кто выжил, победители, живущие теперь среди камней. Я поднял голову и увидел мертвую пустыню: белые, опаленные фасады, в одном оконном проеме торчала половина ванны; потом я опять смотрел на каблуки, только на шагающие каблуки — больше ни на что.

Мы шли по городу, мы шли так, наверное, около часа; откуда-то, словно из невидимого тумана, выныривали люди, они молча смотрели на нас, а мы шли все дальше среди развалин. Дорога взяла вверх, мы стали подыматься в гору по каменистой тропе. Глазам открылось ущелье. Я оглянулся, город исчез. Значит, это неправда, что каждый транспорт военнопленных будет отстраивать какой-нибудь город? Или наш город вовсе не Новороссийск? Неужели есть город, разрушенный сильнее? Как выглядит сейчас Киев или Полтава? Конечно, они тоже разрушены. Я вспомнил кадр из кинофильма: железная дорога, и по ней на колесах едет нечто вроде плуга, вырывая из земли рельсы и шпалы. Потом я видел взорванную плотину: хлынувший поток уносил глыбы бетона, как гальку. Большевизм никогда больше не оправится. Конечно, Киев разрушен, и я с раздражением подумал: «А мне-то какое до этого дело?!» Мы плелись дальше, вдруг что-то рвануло мои внутренности, казалось, там заворочался зверь. Я громко застонал; мы плелись дальше, все выше в горы, а зверь внутри меня вопил, требуя пищи. Зверь ворочался и, не переставая, вопил. Потом я услышал журчание родника, оно напоминало плеск водопада; мы бросились к источнику и пили, пока не выпили весь ручеек.

— Здесь лагерь, спать, шлафен, — сказал начальник конвоя, молодой коренастый человек без левой руки.

Я опустился на каменистую землю, поросшую травой. Ущелья темнели. Начальник конвоя достал из своего мешка маленький синий платок и стал его развязывать. Затаив дыхание, мы смотрели на платок: там мог уместиться разве что кусок хлеба, которого не хватило бы даже на двоих, но мы смотрели на платок такими глазами, словно в нем были спрятаны все сокровища мира. Начальник развернул платок правой рукой, придерживая его на обрубке левой, и мы увидели три кусочка сахару. Он взял один кусочек, сунул в рот и потянулся за вторым, он держал его уже в руке, маленький желтовато-коричневый сладкий кубик, но потом положил обратно и снова завязал платок узлом.

Конвоиры собирали хворост. Я не мог понять, зачем им разводить огонь, потом подумал, что можно было бы заварить чай, но этих растений с голубыми зонтиками на жестких стеблях я никогда раньше не видел. Группа парней из организации «Тодт», расположившихся рядом со мной, тоже разожгла костер. Я спросил, зачем им огонь; один из них пробурчал, что они хотят кое-что сварить. Он взял котелок и, согнувшись, стал подниматься по склону, время от времени что-то со стуком бросая в котелок. Уж не собираются ли они варить камни? Я пожалел, что нельзя есть землю: броситься бы на нее, вонзиться зубами и глотать, дополна набить желудок тяжелой землей. Ведь она наша мать. Почему же она не кормит своих детей?

В котелках что-то постукивало; что же все-таки они собирают? Над одним костром уже висел котел; в нем что-то буквально. Я встал и подошел поближе. Сквозь пар я увидел бурлящую пену, потом разглядел пляшущие в воде скорлупки, похожие на епископские митры: солдат варил суп из улиток. Часовые тоже собирали улиток; они долго мыли их, а потом бросали в крутой кипяток, который мгновенно покрывался клокочущей пеной. Я не мог смотреть на это, голод превратился в яростную тупую боль. Я снова лег, вывернул наизнанку карманы брюк и куртки и стал ощупывать швы в надежде найти хоть крошку табаку. Но за время пути я уже десятки раз обшаривал свои карманы и теперь ничего не мог найти. От котелков поднимался отвратительный запах. «Улиток надо бросать в кипяток и сразу снимать пену. Ох, болваны, вы же так наглотаетесь улиточной слизи», — ворчал кто-то из организации «Тодт». Внезапно мне захотелось вскочить, вырвать с корнем дерево и разнести все вокруг — все, все: котелки с улитками, костры, наших ребят, и русских, и уцелевшие стены города. Все — слизь, вонючая улиточная слизь, и человек — улиточная слизь, слизь, и ничего больше, отброс земли, проказа, короста. Надо встать, вырвать дерево и разбить все вокруг. Мой желудок вопил от голода, а варево из улиток шипело, проливаясь в огонь. Я встал, взял котелок и побрел вверх по склону — поискать улиток, но весь склон был уже обобран. Я пошел к ручью, принес воды, натаскал хворосту, разжег костер, подвесил котелок, а потом маленькими глотками пил горячую воду, и смотрел на море, и думал обо всей той еде, которую не доел когда-то. Я видел белую, густую, жирную, ароматную еду: перловую кашу, густую перловую кашу с мясом! А мы еще воротили морду — опять перловка, осточертевшая бурда, корм для свиней! Теперь я видел целое корыто перловки. Кругом разило, как из выгребной ямы, солнце медленно садилось за гору, на склоне которой мерцали

огни костров. Часовые тихо пели что-то, тени становились все длинней. По морю плыл пароход, я видел, как он постепенно исчезал. Потом я, должно быть, заснул.

На следующее утро мы двинулись дальше, голод перестал бушевать, осталось только головокружение. Несколько часов мы шли по горному склону, дороги здесь не было. Наконец мы дошли до шоссе, поблизости в два ряда стояли палатки. Дорогу окаймляли дубы, деревья-великаны с ободранной корой и обломанными кронами; острые зубцы гор отливали фиолетовым. Должно быть, был полдень. Из палатки вышел рабочий, его лицо, руки и рубаха были вымазаны нефтью. Увидев нас, он сплюнул и что-то сказал, наверно, выругался. Я отвернулся и посмотрел на горы.

— Ну что, фриц, Гитлер капут? — сказал рабочий и опять сплюнул.

Пошатываясь, мы побрели дальше. Рабочий подошел к нам; он схватил за плечи парня, шедшего впереди меня. Я смотрел на руки русского рабочего, черные, волосатые, вымазанные нефтью руки, и, внезапно охваченный бешеной ненавистью, подумал, что следовало бы отрубить эти грязные, перемазанные нефтью русские руки, пачкающие чистый немецкий мундир. Парень обернулся и испуганно уставился русскому в лицо, а русский сказал: «Эх, тойфели, на возьми!» Он достал кусок черного хлеба и сунул его парню. Когда я увидел хлеб, голод снова взревел во мне. Парень взял хлеб: как и все остальные, я не отрываясь глядел, не поделится ли он с кем-нибудь из нас, но он никому ничего не дал. Он вонзил зубы в хлеб и, кулаком запихивая в рот кусок за куском, сожрал весь хлеб; а я кричал про себя, что никогда бы не взял у русского паршивого куска хлеба, а визжащая пила распиливала мое тело.

Шоссе спускалось в долину, мы повернули в дубовую рощу. Дорога сузилась, превратилась в узкую тропу. Она вывела нас на просеку, где стояла палатка и несколько грузовиков; там был колодец, а кругом высокими штабелями лежали листы фанеры. Мы остановились. Из палатки, отмеченной красным крестом на белом фоне, вышел русский офицер; он подошел к нам, но мы смотрели не на него: мы не могли оторвать взгляда от грузовиков, на которых лежали картошка, и хлеб, и мешки, а в них, может быть, перловка. В животе у меня стало жарко, словно там что-то варилось. Вперед вышел переводчик, и сквозь наступающую дурноту я услышал, как он говорил, что мы прибыли к месту назначения, что теперь мы начнем строить лагерь, а листы фанеры предназначены для финских домиков, в которых мы будем жить. Командир надеется, сказал переводчик,

что мы будем добросовестно работать, выполнять и перевыполнять нормы и поможем искупить тяжкую вину Германии. Потом он сказал, что часа через три нам раздадут суп, и кашу, и табак, и сахар, и хлеб, а до того будут заполнены опросные листы и всем нам сделают прививки против сыпного тифа и малярии. Офицер спросил, нет ли вопросов. Кто-то спросил, можно ли писать домой. Офицер сказал, что скоро можно будет. Больше вопросов не было. Мы разошлись. Товарищ, тот, который ел русский хлеб и сейчас стоял как раз рядом со мной, схватил меня за руку. Он был очень бледен и тяжело дышал.

— Ты слышал? — еле выдохнул он.

— Что? — спросил я.

— Они нам что-то впрыснут, — прошептал он и побелел еще сильней. — Они нам что-то впрыснут, — лихорадочно шептал он, а я растерянно смотрел на него, не понимая, о чем он говорит. — Они нам что-то впрыснут, — выдохнул он в третий раз и объяснил, что они впрыснут нам в вену воздух, кубик воздуха в поток крови, бегущей по сосудам, и этот воздух попадет в сердце, закупорит его, и мы умрем от разрыва сердца.

Я обалдело посмотрел на него и недовольно проговорил: «Чепуха!» Но мой товарищ посоветовал мне оглядеться повнимательнее и сказал, что все здесь одна бутафория, чтобы ввести нас в обман и создать впечатление, будто мы находимся в лагере. Он обвел рукой вокруг, и я увидел штабеля фанеры, палатку с красным крестом, грузовики с картофелем, хлебом и мешками… Он спросил, почему вокруг нас дремучий лес и почему дорога вдруг сузилась до еле заметной тропки, почему кругом стоят часовые и почему на пароходе все время играли вальсы, и почему русский капитан так хитро улыбался, и почему комендант лагеря сразу же произнес успокоительную речь и обещал, что разрешит писать домой. И вдруг я снова услышал вальсы и увидел, что кругом лес, молчаливый дремучий русский лес, а между стволами деревьев стоят часовые, я увидел грузовики, для вида нагруженные продуктами, грузовики, которые повезут потом наши трупы в ущелье, а мой товарищ шипел мне в ухо:

— Они нам что-нибудь впрыснут, кубик воздуха в вену или кубик фенола прямо в сердце!

Я поднял глаза. Вокруг были горы. Ведь это Кавказ, а где-то за Кавказом начинается Турция — ближайшая цивилизованная страна, граничащая с этим скифским царством, где людям в вены впрыскивают смерть. И тут я услышал свое имя.

— Военнопленный Фюман! — крикнул переводчик, поднеся

руку ко рту.

Я машинально шагнул к нему.

— На допрос! — сказал переводчик и кивком указал на палатку.

«Все», — подумал я и еще раз поглядел на горы, на огромные синие исполинские горы. И тут я почувствовал толчок в спину и вошел в палатку. Больше я ничего не видел, только темноту, я слышал вопросы, но был без сознания, и кто-то чужой во мне машинально назвал мое имя, место моего рождения, профессию отца, номер полка связи ВВС, русские города, где я служил, где мы стояли. Потом я услышал, как голос спрашивал:

— Были ли вы членом нацистской партии или одной из подчиненных ей организаций?

И тут сознание возвратилось ко мне. Без всякого удивления я заметил, что вопросы задаются по-немецки, и увидел в полумраке палатки русского комиссара, который меня допрашивал; рядом с ним за грубо сколоченным столом сидел писарь, а в глубине я увидел одетого в белое человека, который возился со шприцем, и я подумал, что сейчас наступит конец. Пустят ли они мне пулю в лоб или накинут веревку на шею, только бы это был конец, конец всему. Я поднял голову и громко сказал:

— Да, я был в штурмовом отряде.

Теперь, конечно, комиссар должен вытащить свой револьвер; комиссар подошел ко мне и сказал:

— Разумеется!

Разумеется, он сейчас меня застрелит.

— Само собой разумеется, что вы были в штурмовом отряде, при вашем социальном происхождении и при таком воспитании, — сказал комиссар. Он говорил, я не понимал ничего, я слышал его слова, но не понимал их смысла. Мне показалось, что комиссар сказал еще: «Хорошо, что вы честно отвечаете на вопросы». Но этого не могло быть.

Потом я сразу очутился снаружи у палатки и увидел, как ребята сгружают с грузовиков картошку и хлеб, увидел горы, деревья и небо над ними и подумал, что весь мир, должно быть, спятил, спятил после этой войны, или сам я спятил. И котлы висели над огромными кострами, а один из товарищей толкнул меня в бок и спросил, слышал ли я, что нас собрали здесь, только чтобы зарегистрировать, потому что в Германии сейчас это невозможно сделать. Он знает совершенно точно. Сразу же после регистрации нас всех отпустят, и не пройдет двух недель, как мы будем дома.

Перевод Э. Львовой.

Франц Фюман
ГЕРМАНИЯ ВПЕРВЫЕ

7 октября 1949 года. Образование Германской Демократической Республики

О создании Германской Демократической Республики я узнал в антифашистской школе в Латвии. И хотя я еще находился в советском плену, я чувствовал себя более свободным, чем когда-либо прежде.

Прибыл я в школу осенью 1947 года. В бараке лагеря я обычно читал товарищам вслух газету для военнопленных; я и не знал тогда, что в Советской Армии это поручают специально выделенному политическому агитатору. Не удивительно, что, когда политработник нашего лагеря спросил меня, не хочу ли я учиться в антифашистской школе, я в первый момент растерялся, а потом, уже сидя в вагоне, упрекал себя в том, что, сославшись на это, пошел против совести. Полный жажды знаний и одновременно недоверия, слушал я лекции по истории Германии и невольно был захвачен тем, как необычно, по-новому преподносили нам этот предмет. Когда же я прослушал лекции по политической экономии и почитал объемистые тома «Капитала», у меня будто пелена спала с глаз; ведь тут был ответ на все мучившие меня вопросы, и все извивы и сложности моей жизни стали простыми, зримыми, как парта, за которой я сейчас сидел. Наконец-то я прозрел и мог смело заглянуть в самую суть событий.

Занятия в школе продолжались полгода, а затем мне предложили либо вернуться домой, либо остаться работать в школе. Я решил остаться и отсюда, издалека, следил за всем, что происходило в Германии, которая теперь стала мне особенно родной и близкой, и с возмущением наблюдал, как в одной ее части вновь вырастают ядовитые зубы дракона, вбивая клин за клином между немцами и немцами, и как эта часть страны отделяется от другой. Бизония, Тризония, денежная реформа, образование на Западе сепаратного государства — эти новости не давали нам уснуть по ночам; но вот пришла добрая весть: на востоке Германии народ создал свое государство.

Стояло погожее октябрьское утро. Как и всегда в будние дни, мимо голубого дощатого забора лагеря шли на работу в поле латышские крестьяне. Потом мы сидели по своим баракам,

сгрудившись вокруг репродукторов, а в полдень поздравить нас с рождением демократического германского государства пришли латышские пионеры. Ясноглазые, белоголовые, с огромными букетами желтых и красных живых цветов, бежали они по дорожкам лагеря. У клуба, перед портретом Вильгельма Пика, они остановились и, легонько подтолкнув друг друга, крикнули: «Вильгельм Пик — урра-а-а-а!» — а потом курносая девчушка снова крикнула: «Вильгельм Пик — урра-а-а-а!» — и ребята подхватили: «Вильгельм Пик — урра-а-а-а!» — размахивая своими желто-красными букетами. На глаза у нас навернулись слезы, никогда еще не испытывали мы такого волнения. Так мы и стояли, оробевшие, растерянные, перед латышскими ребятами, которые кричали «ура» в честь президента германской республики. Время шло, и мы все стояли с влажными глазами, и вдруг дети бросились к нам, обняли нас и протянули нам цветы.

Вечером забрать своих ребятишек пришли крестьяне, один из них вошел в лагерь и протянул нам руку. Впервые латышский крестьянин жал нам руки. Он сказал «до свидания» на ломаном немецком языке, жестко выговаривая слова, затем повернулся, словно решив, что и так сказал слишком много, и удалился. Ребята на прощание кивали нам. В тот день я понял: что бы ни случилось, эта республика — моя республика!

В середине декабря 1949 года наша школа была распущена. Мы долго тряслись в товарных вагонах. 22 декабря мы прибыли на пересыльный пункт Гронефельде под Франкфуртом-на-Одере, а 24-го я, отныне гражданин Германской Демократической Республики, выехал в Берлин, чтобы оттуда отправиться в Веймар, где теперь жили мать и сестра. Я стоял, зажатый в массе усталых, раздраженных людей; паровоз пыхтел и сопел, как астматик, воздух в вагоне был спертым от пота и угольной пыли. Я мечтал…

Я мечтал о часе свидания, о новой жизни; в просветы между платками и фуражками моих спутников я следил за узкой лентой серой равнины. Так вот она, моя родина! Здесь, по левую сторону Одера, я увидел ее впервые. Кое-где среди серой равнины мелькали ручьи, ивы, ольха, на лугах чернели лужи, с полей взлетали вороны.

Внезапно поезд резко затормозил, мы повалились друг на друга, мужчины чертыхались, женщины визжали; началась тщательная проверка багажа и документов, — мы подъехали к Берлину. Мне удалось протиснуться к окну. Поезд тронулся, и теперь я видел редкий лес, большей частью сосны и березы, серую землю, рассеченную булыжной мостовой, загородные поселки сплошь из покосившихся домов с дырявыми толевыми крышами,

потом и эта серая равнина осталась позади, и пошли бурые, закопченные горы битого кирпича, еще хранившие запах гари. Началась пустыня — только щебень и пепел. Мне стало страшно. Новороссийск тоже был сильно разрушен, но то, что я видел здесь, даже городом нельзя было назвать: это была груда размолотых камней. «Берлин», — выдохнул мой попутчик: эти развалины были когда-то его родным городом. Его губы дрожали, он отвернулся. Так вот он, Берлин, его восточные кварталы, а темный пустынный вокзал без крыши, мимо которого полз поезд, назывался Силезским вокзалом.

Поезд тащился до одурения медленно; мной владела лишь одна-единственная мысль: не приведи господь жить в этих развалинах! «Всего этого не расчистить и за сто лет», — упавшим голосом прошептал мой товарищ. От кирпичей исходил запах дыма и золы. В небе кружили вороны. Над мусором и щебнем подымался столб пыли. Я молча смотрел в окно.

Вокзал Фридрихштрассе был конечной остановкой. Мы прибыли сюда в полдень, а поезд на Веймар уходил только вечером. Поэтому я решил повидать своего единственного знакомого, жившего прежде в Берлине. Это был тот самый приятель, который, прочитав однажды мои стихи, посоветовал мне заняться изучением «Эдды». Я помнил его старый адрес в Целендорфе, в западной части Берлина, и на авось поехал туда. И дом, и его хозяин оказались на своем месте. Я очутился в небольшой изящной вилле.

— Боже милостивый! — воскликнул мой знакомый, элегантно одетый господин лет шестидесяти, когда я назвал себя. И он воззрился на меня в полном изумлении.

— Вам удалось вырваться из русского ада?

— Как видите, — ответил я.

— И вы, само собой разумеется, немедленно едете дальше, на Запад! — воскликнул он и потянул меня в дом.

— Да нет же, — сказал я.

— Но в Западном Берлине вам едва ли удастся обосноваться, — объяснил он.

— А я и не стремлюсь сюда, — сказал я.

— Вы что, собираетесь эмигрировать? — удивился он.

— Нет, я еду в Веймар, — сказал я.

Он отпустил мою руку и воскликнул:

— Но вы же не вернетесь добровольно в русскую зону теперь, когда вы в безопасности?!

Я засмеялся:

— Разумеется, я буду жить в Германской Демократической Республике.

Мой знакомый уставился на меня, точно увидел перед собой умалишенного. Потом у него, видно, родилась какая-то идея. Он удалился, но вскоре вернулся с полным подносом и стал молча накрывать на стол. Храня многозначительное молчание, расставил молоко и мед, масло, печенье, булочки, пралине, шоколад, ветчину, печеночный паштет, колбасу и, наконец, налил черный кофе.

— Нэскафе, — сказал он. — Вы пили когда-нибудь нэскафе?

Мне пришлось сознаться, что нет, не пил.

Он с сожалением покачал головой и сказал:

— О-о, нэскафе! — Его лицо просияло: он слагал оду. — Нэскафе, — начал он, — лучший в мире кофе, просто сказочный, американский! Высыпаешь порошок в кипящую воду, и он полностью растворяется! Никакого тебе утомительного процеживания, ни осадка или там накипи — чистейший и крепчайший черный кофе, лучше, чем в кофеварке. Великолепно, не правда ли?

— В самом деле, это удобно, — сказал я.

— Нэскафе, — повторил он еще раз и, держа баночку большим и средним пальцами правой руки, щелкнул по ней указательным пальцем левой так, что она, сверкнув серебром, обернулась вокруг своей оси. Затем он торжественно поставил банку возле моей чашки, показал на уставленный яствами стол и произнес:

— Ну-у! — Ничего больше, только: «Ну-у!» Очевидно, он надеялся, что этот кулинарный аргумент сразит меня наповал. Я намазывал булочку и неторопливо расспрашивал его о всяких мелочах. Он односложно отвечал. Когда я откусил кусок, он укоризненно сказал:

— Как вы можете ехать в русскую зону? Ведь вы их совсем не знаете!

— Почему же, — возразил я, — я внимательно следил за развитием событий, которые привели к созданию Федеративной Республики там и Германской Демократической Республики здесь, я изучал обе правительственные программы и…

— Но ведь это политика, это же все чепуха! — воскликнул он раздраженно, накладывая сбитые сливки в свою чашку. — Поймите, мой дорогой, все это сущий вздор, важно, как ты живешь!

— Вот именно, — сказал я, — только я понимаю под этим нечто большее, чем сбитые сливки и нэскафе!

— Я тоже, — сказал он, — например, свободу!

— Например, свободу, — повторил я, — только, спрашивается, для кого!

— Для души, для ума, — ответил он и, по-видимому, осененный новой идеей, повел меня в соседнюю комнату, и принялся показывать свою библиотеку — тем же жестом, каким предложил мне полюбоваться уставленным яствами столом, но только не добавил при этом: «Ну-у!» Особо он указал на книжную полку, где в одной шеренге выстроились свидетели его свободы: Элиот, Камю, Паунд и многие другие писатели, которых я не знал, а среди них Биндинг и Юнгер — эти-то двое были мне хорошо знакомы! Я читал имена авторов и названия книг, а мой знакомый безмолвно ждал. Наконец, он все же произнес свое: «Ну-у!»

— Ну-у, — повторил он. — Вы удивлены, не так ли? В русской зоне вы этого не увидите!

— Биндинга и Юнгера наверняка не увижу, — сказал я, — и считаю, что это правильно!

Он же находил, что это неправильно. Конечно, он соглашался, что Юнгер изрядно мрачноват, а Биндинг, несомненно, имеет довольно прямое отношение к национал-социализму, но все-таки оба неотделимы от истории немецкой культуры, а свобода якобы в том и состоит, чтобы предоставить слово и таким писателям. Я спросил его о Марксе, о Ленине, о Шолохове; должно быть, это его рассердило, и он в третий раз протянул: «Ну-у…»

— Ну-у… — протянул он. — Вы сами скоро поймете, как заблуждались: сама жизнь вас переубедит. Самое большее через год ваша русская зона развалится!

Я улыбнулся.

Вдруг он снова взял мою руку.

— Боже мой! — воскликнул он. — Вы подпали под влияние русских, во время войны это случалось со многими. Но вы же интеллигентный человек, для вас там нет поля деятельности.

— А я убежден в обратном, — сказал я и попытался объяснить ему, что осмыслил свою жизнь, лишь начав изучать марксизм, и что только в плену понял, для чего и зачем мы живем.

Теперь улыбнулся он.

— Это стереотипные фразы, — сказал он с таким жестом, будто что-то отшвыривал в сторону. — Это стереотипные фразы, их обычно пускают в ход, когда встречаются с чем-то новым, — повторил он и пододвинул мне кусок яблочного пирога. — Через год, когда вы хорошо узнаете ваше государство, вы будете думать совсем иначе, дорогой мой. — Он пронзил меня взглядом и с расстановкой сказал: — Впрочем, мой дом всегда остается для вас открытым, и мы будем считать, что ничего не случилось.

Я встал. Я торопился, но подгоняло меня не только время.

— Вы снова будете писать стихи? — спросил он.

— Вероятно, — сказал я, хотя еще не был в этом уверен. С тех пор как я попал в антифашистскую школу, я не написал ни одной строчки.

— А знаете, вам следовало бы описать пляску смерти, это в вашем духе — этакую жуткую демоническую пляску смерти, которая передала бы весь апокалипсис нашего времени, — сказал он и допил свой нэскафе. — Весь апокалипсис, — повторил он и поставил чашку, — одиночество человека, отчаяние, жестокость, чувство заброшенности…

Он вытер с губ сливки. Я надел шинель.

— Может быть, возьмете булочек на дорогу? — спросил он.

Я отказался и ушел. Высунувшись из окна, он крикнул мне вслед:

— Подумайте о пляске смерти, а уж об издателе я позабочусь!

На станции Целендорф мне пришлось долго ждать электрички. Я подошел к киоску и пробежал глазами газетные полосы. У меня перехватило дыхание. От преподавателей, приезжавших из Германии, я уже кое-что слышал об антисоветской шумихе на Западе, и вот я вижу ее собственными глазами; впервые со времен Геббельса я снова встречаю Геббельса. Мне стало противно: какая низость, грязь, какая ложь! Меня по-настоящему затошнило. Наконец прибыла электричка и повезла меня назад, к вокзалу Фридрихштрассе. Второй раз за эти рождественские дни я почувствовал, что возвращаюсь на родину, домой, в свою республику. Я огляделся вокруг: здание вокзала было серым, с такими же серыми окнами, а рядом — крохотная елочка, флаги, транспаранты, спешащие куда-то люди, газетный киоск. Я подошел к киоску.

— Что нового? — спросил я у продавца газет.

Он глядел на меня во все глаза, а я стоял перед ним в перекрашенной шинели, в шапке-ушанке на голове, с деревянным чемоданом между ног и, сбиваясь, считал непривычные мне деньги.

— А что нового у ивана? — ворчливо спросил он в ответ и, когда я сказал: «Много хорошего!» — сплюнул и кисло усмехнулся.

«Этот нас не любит», — подумал я и посмотрел на газеты, которые он продавал. И я увидел, что, хоть мы ему и не по нутру, он вынужден продавать газеты, в которых написана правда. Это показалось мне хорошим признаком, и я подумал, что ежедневное общение с правдой, возможно, и его изменит так же, как нас изменила правда, которую мы наблюдали вокруг и испытали на

себе, нас, которые еще три года назад (неужели с тех пор прошло только три года?!) были фашистами. Я купил «Нойес Дойчланд», берлинскую вечернюю газету, иллюстрированный журнал и в ожидании поезда стал читать. Уже давно прошел назначенный час, а поезда на Эрфурт все не было; прибыл он с большим опозданием. Людей в поезде ехало совсем немного, он был почти пустой, — ведь наступил сочельник. Моей единственной попутчицей оказалась служащая народной полиции с двумя мальчиками — семи и девяти лет. Она была некрасива, с грубыми чертами лица, и все же, когда она смотрела в окно, я бросал на нее взгляды, полные затаенной робости: я уже давно не видел так близко ни одной женщины. Вскоре мы разговорились; она рассказала, что мужа ее убили в 1944 году в концлагере Нойенгамме: один садист-эсэсовец раздробил ему палкой шейный позвонок. Она призналась, что до этого вообще не интересовалась политикой, но после гибели мужа поклялась бороться против его убийц и потому добровольно вступила в народную полицию. Живет она с детьми одна, а сейчас едет на рождественские дни в дом отдыха, бывший замок одного тюрингского графа. Ехали мы опять невыносимо медленно: бесконечные проверки багажа, получасовые стоянки на перегонах, давка и ругань на остановках, а в Вейсенфельзе в наш полупустой поезд набилось полно народу. Мужчины проталкивались в двери, лезли в окна, чемоданы и рюкзаки передавали через головы; в проходе мгновенно появился проводник. Ворвавшиеся в вагон пассажиры были почти сплошь рабочие. Слегка навеселе, они со смехом и шутками размещались по купе, пока все кое-как не устроились. Они распаковали рюкзаки, вынули хлеб, толстые ломти колбасы, масло, сало, бутылки с хлебной и тминной водкой и приступили к еде. То, что они съели за один присест, намного превосходило недельную норму по продуктовым карточкам; возможно, они раздобыли все это в коммерческих магазинах, тогда это стоило каждому из них вдвое больше, чем весь мой наличный капитал.

— Это горняки, добывающие висмут, — объяснила мне служащая народной полиции, — они работают под землей, их труд оплачивается в нашей республике выше всего.

Горняки затянули песню, чувствительную рождественскую мелодию: за окнами вагона в полной тьме лежала земля, а маленький фонарик, свисавший с потолка, мерцал в полумраке желтым пятном. Так в едва освещенном вагоне мчались мы все дальше; один горняк угостил меня колбасой и коньяком; я выпил, но за эти годы совсем отвык от спиртного и, чтобы глотнуть свежего воздуха, протиснулся по проходу к разбитому окну, через которое в вагон со свистом врывался ветер; у окна, этой зияющей

дыры, стоял человек, как видно тоже возвращавшийся на родину. Он стоял, почти не двигаясь, и широко раскрытыми глазами смотрел прямо в черноту этой рождественской ночи, а его руки сжимали грязный захватанный поручень. Поборов смущение, я заговорил с ним. Мало-помалу мы разговорились. Он рассказал, что возвращается из советского плена и теперь едет домой, где он, бывший батрак одного тюрингского помещика, благодаря земельной реформе получил землю — первый раз в жизни свою землю. Я узнал, что до сих пор хозяйство вела его жена. Он рассказывал о посевном плане, о семенах, об урожае, о машинах; завтра, завтра на рассвете он уже будет дома, на своей земле! Он смотрел в темноту, в разбитое окно врывался ледяной ветер, и вдруг я понял: я напишу об этом стихи! И я написал их. Это были мои первые стихи после поступления в антифашистскую школу. Поезд, громыхал, несся вперед, нас немилосердно трясло, я слагал стихи, не записывая, в уме. После всех прежних мрачных стихов это были мои первые светлые строки:

Прильнув к стеклу, стоял он у окна,
а перед ним плыла его страна.
Страна, страна, — черным-черна в окне.
Тогда-то он увидел раз во сне —
когда холопом был он у господ,
когда с него седьмой катился пот,
когда он вещью был среди вещей
и юнкер мог его прогнать взашей, —
тогда-то он увидел раз во сне,
что он хозяин в собственной стране,
что все его — земля, упряжка, плуг —
и что земли хватает всем вокруг,
что стали все хозяева, как он…
Страна, страна, — но это был лишь сон.
Но вот настал Великий Поворот —
незабываемый великий год:
«Берите вашу землю навсегда —
вы, бывшие рабами, господа!»

И вот теперь стоит он у окна,
а перед ним плывет его страна —
его страна, что ждет своих господ.
Блестят глаза и вздрагивает рот.
К его окну другие подошли,
теперь, как он, хозяева земли.
Смотрите — за окном его страна,

холмами низкими окаймлена.
Смотрите — это к ней вернулся сын:
недавний раб, а ныне — господин![18]

Нет, думал я, сложив свои стихи, — эту землю я никогда не покину, никогда! Поезд полз, тяжело пыхтя; чадил фитиль в фонарике; из купе доносились храп и пение, а я снова и снова вспоминал пережитое. Когда я ощутил впервые эту потребность изменить свою жизнь? В антифашистской школе, где с глаз моих словно спала пелена после того, как я впервые познал законы общественного развития и проследил извилистый путь Германии от мировой войны и Сталинграда вплоть до создания Германской Демократической Республики, что стала моей родиной? Да, именно там свершилась перемена, но истоки ее лежат где-то глубже. Не тогда ли это началось, когда я впервые прочел Ленина? А может, когда мы кончили строить ту чертову дорогу? Или когда я увидел Новороссийск, разбитой раковиной лежавший в соленой воде гавани? А может, когда я рыскал по лесам Богемии? Когда лежал на нарах и слушал доносившийся из Сталинграда голос диктора? А может быть, раньше, еще раньше? Я не знал этого, да и сегодня точно не знаю. Вероятно, человек всю свою жизнь стремится стать таким чистым и светлым, каким он, может быть, впервые видит себя удивленными детскими глазами в зеленой зеркальной глади кафельной печи.

Перевод М. Вершининой.

notes

Примечания

1

«Германия зовет» *(англ.)*.

2

Смерть через повешение *(англ.)*.

3

Эй, парень! *(англ.)*

4

Укороченный карабин образца 1898 года.

5

Крупный рогатый скот *(англ.)*.

6

«Моя борьба» *(нем.)* — книга, написанная Гитлером.

Разобраться по двое! *(англ.)*

8

Жевательная резинка *(англ.)*.

9

«Серб, как я вижу! Ступайте, ступайте домой!» *(англ.)*

10

Сорбы — устаревшее немецкое слово, название лужичан, славянской народности, живущей в ГДР в верховье и по среднему течению Шпрее.

11

Ящик из-под мыла — в США импровизированная уличная трибуна.

12

Знаменитая церковь св. Фомы в Лейпциге, где работал органистом великий немецкий композитор И. С. Бах.

13

Небольшое двухмачтовое парусное судно. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

14

Два друга, герои «Песни о нибелунгах».

15

Начальные слова произведения Райнера Марии Рильке «Мелодия о любви и смерти корнета Кристофа Рильке».

16

Фашистский концлагерь в Нижней Саксонии, в Люнебургской пустоши.

17

Вспомогательные военно-строительные части гитлеровской армии.

18

Перевод К. Богатырева.